

Валентин
Катаев

Почти
дневник

Валентин Катаев

Почти дневник

Катаев В. П.

Почти дневник / В. П. Катаев —

В книгу выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Валентина Катаева включены его публицистические произведения разных лет» Это значительно дополненное издание вышедшей в 1962 году книги «Почти дневник». Оно состоит из трех разделов. Первый посвящен ленинской теме; второй содержит дневники, очерки и статьи, написанные начиная с 1920 года и до настоящего времени; третий раздел состоит из литературных портретов общественных и государственных деятелей и известных писателей.

Содержание

ЧАСТЬ 1.	5
В зеркале Мавзолея	5
Незабываемый день	7
О новаторстве	9
Как я писал книги «Маленькая Железная дверь в стене»	12
ЧАСТЬ 2.	15
Записки о гражданской войне	15
Пороги	34
Москва этим летом	43
Простое сложение	50
Ритмы строящегося социализма	52
Политотдельский дневник	54
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Валентин Петрович Катаев

Почти дневник

ЧАСТЬ 1.

В зеркале Мавзолея

На Мавзолее написано: «Ленин».

Мир отражается в зеркале Мавзолея.

Ежегодно в ноябре холодным и туманным утром на белокаменных трибунах Красной площади сходятся люди. Черные лабрадоровые и розовые гранитные плиты безукоризненно отшлифованной облицовки отражают великолепную художественную картину встречи друзей, старых боевых товарищей, братьев...

Высокая честь – быть в этот день отраженным в ступенчатых стенах Мавзолея.

Товарищи узнают друг друга в толпе и обмениваются короткими рукопожатиями. Живые приветствуют живых.

Мертвые замурованы в белую Кремлевскую стену или лежат тут же, в могилах. Они молчат, но их имена говорят на каменном языке славы.

«Фрунзе, Дзержинский...»

Это не имена мертвых. Это лозунги вечно живого, бессмертного дела.

Золотая стрелка часов на Спасской башне подходит к десяти.

Войска неподвижны.

Штатский человек с узенькой седой бородкой, в шляпе, с палочкой идет к Мавзолею.

Это всесоюзный староста Калинин.

Он отражается в Мавзолее.

Боевые товарищи приветствуют своих вождей. Калинин приподымает шляпу.

Площадь, приготовленная для парада, неподвижна, как гравюра, вырезанная твердой и точной рукой на пластинке стали.

Куранты бьют десять.

Светло-шоколадная, золотистая лошадь с белыми ногами и белым лбом выносит из Спасских ворот Ворошилова. Цокают копыта.

Командующий парадом выдергивает из ножен шашку.

Зеркальная дуга салюта замирает на аршин от земли.

Ворошилов скачет по фронту.

В этот час вокруг Красной площади замирает Москва. Белые и черные лошади конницы грызут мундштуки на площади Революции.

Вдоль улицы Горького в четыре ряда стоят танки.

В витринах магазинов замерли архитектурные проекты будущих дворцов, набережных, скверов, эспланад.

Тысячеоконные корпуса будущих легких, воздушных зданий отражаются в асфальтах непомерного блеска и ширины.

Синеватые облака плывут по античным статуям верхних галерей.

Это – будущее Москвы. Но не то отдаленное будущее, которое мы предчувствовали в первые годы Октября, а близкое, реальное будущее, которое уже можно трогать руками.

Будущее, которое уже в значительной степени вокруг Красной площади стало настоящим.

Охотный ряд превращен в широкую аллею между двумя громаднейшими зданиями. Громадная площадь на Моховой залита асфальтом. И далеко-далеко открыта жемчужно-голубая перспектива с видом на Манеж, на Кремль, на Александровский сад.

То уже кусок будущей Москвы – Москвы зеленой, просторной, элегантной, красивой.

Мы умеем создавать новое, прекрасное, монументальное.

Темный, путанный, тесный мир старой Москвы раскрывается вокруг Красной площади миром светлым, чистым, красивым, нарядным.

Мы создаем свои Булонские леса и Елисейские поля.

Гремят оркестры.

Мелькают, отражаясь в Мавзолее, пехота, артиллерия, кавалерия, самокатчики, танки, грузовики...

Покрывают небо тройка, пятерка, девятка эскадрилий военной авиации.

Пронесется бреющим полетом истребители.

Они круто взмывают вверх. Они отвесно ползут по воздуху.

Это высшая школа пилотажа.

Идут районы.

Плывут воздушные шары, портреты, флажки.

Колонна семнадцатилетних юношей и девушек гордо несет плакат: «Нам семнадцать лет».

Это ровесники Октября, ровесники века социализма.

Появляется громадный самолет «Максим Горький».

С него гремит «Интернационал». Самолет плывет над площадью, как гигантский музыкальный ящик.

Отцы держат на руках детей.

Маленькая девочка сидит на цоколе трибуны. В одной руке у нее красный флажок, в другой – надкушенное антоновское яблоко. Сизые щечки замурзаны, и глазенки широко смотрят вокруг на весь этот радостный, гремящий, четкий и грозный мир Октябрьского парада.

Девочка отражается в зеркале Мавзолея.

1934 г,

Незабываемый день

Мы взошли на крыльцо и стряхнули веничком снег с ботинок.

В избе стоял синий свет зимних сумерек. Бревенчатые стены. Зеркало под полотенцем. Рыночная копия с шишкинского леса. Зелень комнатных растений. Икона. Под нею квадратный дубовый стол на толстых ножках. Камчатная скатерть. Над столом электрическая лампочка с приложенным к ней зеленым стеклянным абажуром. Портрет Ленина.

М. Ф. Шульгина, высокая красивая старуха с тонким белым лицом, впустила нас в комнату:

– Милости просим. Присаживайтесь.

Мы сели.

Она пошла в соседнюю горницу и через некоторое время вернулась, держа в сухих, тонких руках венский стул.

Это был обыкновенный, дешевый «венский» стул – черный, облезший от времени.

Она поставила его вверх ножками. На оборотной стороне круглого сиденья было написано карандашом:

«На настоящем стуле 9 января 1921 года сидел т. Ленин на общем собрании деревни Горки в доме В. Шульгина».

Семнадцать лет прошло с того дня. И вот в той самой избе, за тем самым столом, за которым тогда сидел Ленин, собралась группа колхозников деревни Горки, ныне колхоза Горки имени Владимира Ильича Ленина.

Их четверо: Алексей Иванович Буянов, Марья Федоровна Шульгина, Алексей Михайлович Шурыгин, Марья Кирилловна Бендерина.

Они вспоминают этот незабываемый день.

Все было очень просто.

Товарищ Ленин жил под Москвой, в двух верстах от деревни, в совхозе.

Крестьяне решили пригласить товарища Ленина к себе в деревню «поговорить о жизни». Два человека, представители общества, отправились к Ленину. Он принял их моментально, выслушал просьбу и тут же деловито назначил день и час встречи: 9 января, в шесть часов вечера.

Ровно в шесть часов вечера 9 января по новому стилю (а по старому стилю 27 декабря 1920 года) возле избы крестьянина В. А. Шульгина, самой просторной избы в деревне, остановились сани парой, из которых вылез небольшой, коренастый человек в шубе.

– Вот здесь вот, подле окна, сел Владимир Ильич, а рядом с ним села Надежда Константиновна, – сказала хозяйка избы М. Ф. Шульгина, показывая на стулья, на стол, на окна, не торопясь, как бы вызывая в памяти своей давнюю, но дорогую картину.

– Владимир Ильич снял шубу и приладил ее на спинку стула, к окну, чтобы не дуло сзади, – прибавил А. М. Шурыгин.

А. И. Буянов ласково, задумчиво улыбнулся:

– В таком простеньком, знаете, сереньком костюмчике, в галстук... облокотился на этот самый вот стол, оглядел всех и прищурился, словно прицелился...

– А народу набилось в комнату человек восемьдесят, да еще человек двести не вошло, и они стояли снаружи, на улице, заглядывая в окна.

– И начались разговоры?

– Разговоры?... Да как вам сказать... Собственно, это нельзя назвать «разговоры». Нам Владимир Ильич прежде всего сделал доклад о международном и внутреннем положении. Мы ведь в то время, знаете, если правду сказать, насчет политики были ни бе ни ме. И вот Владимир Ильич сделал нам обстоятельный доклад. Часа полтора говорил. Все затронул. Все

вопросы. И, знаете, так просто говорил, так ясно, понятно. Он говорил о том, что крестьяне должны объединяться в товарищества (артели), что надо всячески поддерживать родную Красную Армию, что не следует бояться трудностей, неполадок, а надо смело вмешиваться в управление государством, искоренять пережитки старого режима – взяточничество, бюрократизм, косность, лень, безграмотность... Мы все слушали его затаив дыхание...

А как раз был третий день рождества. В некоторых избах готовились вечеринки. И представьте себе, ни один человек не ушел домой, пока не кончилось собрание...

– Потом завязалась общая беседа. Но опять-таки то не была беспорядочная болтовня, а вопросы и ответы в строгом порядке, коротко, деловито, серьезно. И записывалось все в протокол. Честь по чести.

– Ну конечно, не обошлось без смеха. Вдруг посреди этого серьезного государственного разговора берет слово Соловьев. Портной. Он уже умер. Берет слово Соловьев и спрашивает Владимира Ильича: дескать, как мне при теперешнем состоянии транспорта перевезти из Саратовской губернии свои подушки?

– Весь народ, конечно, так и повалился от хохота. Соловьев тут же понял, что сморозил глупость, покраснел как рак... А Владимир Ильич только на него бегло взглянул, еле заметно усмехнулся и сделал вид, что не расслышал. Перешел к другим вопросам. Не захотел человека окончательно сконфузить перед обществом. Очень деликатно поступил Владимир Ильич. И мы сразу поняли ту деликатность и очень оценили ее.

– И электричество нам Владимир Ильич помог провести, – сказала хозяйка. – Тогда у нас еще электричества не было. Товарищ Ленин сам внес предложение, чтобы в нашу деревню провели электричество из совхоза. И тут же вынесли постановление провести в деревне электричество. И вот с тех пор, видите, как у нас в деревне светло. Тоже нам память об Ильиче.

– Никакой мелочью не гнушался Владимир Ильич, – заметил А. И. Буянов. – Я как раз в то время служил в Красной Армии и был в отпуску. И хозяйство у меня было очень бедное, а изба совсем развалилась. Я просил в земельном управлении, чтобы мне дали избу. А они там волынили и не давали. Вот я, пользуясь случаем, и обратился к товарищу Ленину. Он выслушал меня внимательно и спросил народ: «Правильно он говорит?» – «Правильно». Тогда Ленин попросил секретаря записать в протокол, чтобы мне дали избу. И дали. А через некоторое время везу я через лес строительные материалы для своей новой избы. Встречаю Ленина. Идет Ленин с ружьем. Сразу меня узнал. «Здравствуйте, товарищ Ленин». – «Здравствуйте, товарищ Буянов. Ну как, дали вам избу?» – «Дали. Вот материал везу». – «Ну вот, видите, – говорит, – надо уметь на них нажать...» И усмехнулся...

Часа три-четыре продолжалось незабываемое собрание. На прощание товарищ Ленин сказал:

– До свиданья, товарищи. Подождите немного. Скоро, очень скоро у нас наступит замечательная жизнь.

Сейчас, мимо избы, где семнадцать лет назад Ленин говорил с крестьянами о будущей замечательной жизни, тянется великолепное асфальтовое шоссе. Мелькают автомобили.

Над снегами четко рисуются силуэты мачт для передачи тока высокого напряжения.

В совхозе имени В. И. Ленина выстроена изумительная школа-десятилетка: громадные окна, паровое отопление, блеск паркета, чистота, уют...

И веселые ребята выбегают после уроков в «парк пионеров», где за оснеженными елями сидит дымное, морозное солнце...

1938 г.

О новаторстве

Дух новаторства должен пронизывать все поры нашего общества.

Революционное новаторство – вот главная черта всей деятельности Ленина, в боях и борьбе создавшего первую в мире истинно рабочую партию коммунистов. Дух новаторства руководил Лениным, когда он открыл совершенно новые формы первого в мире Советского государства.

Так же глубоко был разработан в ленинские времена и знаменитый план ГОЭЛРО, который Ленин назвал второй Программой партии.

Ленин никогда не отрицал права на мечту. Он прямо написал:

«Надо мечтать!»

Заметьте: не можно, а надо. Надо мечтать!

«Разлад между мечтой и действительностью, – цитирует Владимир Ильич Писарева, явно разделяя его мнение, – не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно».

Стало быть, нет никакого противоречия между нашей мечтой и действительностью. Но есть противоречие иного рода. Планы наши – насквозь новаторские. А между тем иные люди, призванные осуществлять эти планы, проводить их в жизнь, нередко в своей практике, да и по духу своему довольно-таки консервативны. То, что в дореволюционное время называлось «просвещенные консерваторы».

Наши советские «просвещенные консерваторы» очень любят трактовать себя как больших новаторов.

Если же присмотреться к их ежедневной деятельности, к их практике, к их безоговорочному открытому преклонению перед всем старым, проверенным и спокойным, к их панической боязни всего сколько-нибудь нового, то можно с уверенностью сказать, что в силу целого ряда исторических обстоятельств образовался некий устойчивый тип работника-консерватора, тайного зажимщика всякой смелой мысли, всякой непривычной идеи, идущей вразрез с усвоенными в течение многих лет представлениями и навыками, – будь то животновод, застрявший в своих представлениях на практике средневекового животноводства; будь то отсталый председатель колхоза; будь то чиновный литератор, воинственный охранитель устаревших, изживших себя литературных форм, в которые уже явно не вмещается новое содержание; или же критик, пытающийся представить дело так, будто допотопный реализм какого-нибудь Шеллера-Михайлова – это именно и есть социалистический реализм.

Новое рождается в борьбе со старым, отжившим, косным. Такова диалектика. Духу новаторства всегда противостоит консерватизм самых различных, подчас очень тонких оттенков. Это закономерно. Мы знаем, что жизнь развивается, не может не развиваться в борьбе противоречий. Старое всегда сражается с новым.

Борьба нового со старым, передового с косным идет в науке, в эстетике, в искусстве. Это борьба плодотворная, показывающая бурный рост нашей страны во всех областях. Но она все же борьба, и в этой борьбе наша новаторская Коммунистическая партия, ее ленинский Центральный Комитет призваны историей помогать всему новому.

Нельзя забывать, что все большие и малые деяния, которые совершил наш народ, наша партия, начиная с Октябрьской революции, были актами новаторства.

Новаторством были коллективизация сельского хозяйства, строительство индустриальных гигантов, освоение целинных земель, завоевание космоса.

Если можно сказать, что наш народ в короткий исторический срок пересел с телеги на трактор, а вся наша страна совершила прыжок от лучины к радио, от капитализма к социализму, то теперь новая Программа партии дает нам еще более грандиозный маршрут, когда, образно выражаясь, нашему народу предстоит пересест с самолета на космический корабль.

Этот подвиг может совершить только народ-новатор.

Движение наше вперед совершается с такой быстротой, что сознание человека зачастую не поспевает за развитием техники.

Сознание отстает. Это явление хотя и досадное, но оно показывает не столько слабость нашего сознания, сколько быстроту, которую набирает наше общество в своем движении вперед, к новым, коммунистическим формам своего бытия.

Задача в том, чтобы убрать с дороги все инертное и предоставить «зеленую улицу» духу новаторства.

Программа партии открывает практически неисчерпаемые перспективы во всех областях нашей жизни, в особенности в области человеческого труда.

Как человек, причастный к искусству, я, конечно, в первую очередь мечтаю о наступлении эры большого новаторского искусства, ибо только оно одно может во всей полноте отразить нашу эпоху новаторской техники и новаторской политики.

Был такой момент, когда малейшее проявление в искусстве чего-нибудь истинно нового вызывало раздраженные отклики, что, конечно, совершенно не могло содействовать процветанию в нашей стране духовной свободы и независимости.

В этой связи хочется вспомнить один случай с Владимиром Ильичем Лениным. Это было в 1921 или в 1922 году, а может быть, годом раньше. Я приехал в Москву в 1922 году, и об этом случае говорили все литераторы и люди левого фронта, с которыми я встречался и дружил: говорили о посещении В. И. Лениным общежития Вхутемаса.

Среди огромных государственных дел Владимир Ильич нашел время, чтобы приехать в общежитие Вхутемаса, посмотреть, как живут студенты. А время было очень трудное, голодное. Ленин приехал вместе с Надеждой Константиновной Крупской и поднялся по темной лестнице в общежитие, где жили тогда голодные, но полные энтузиазма художники, горячие сторонники Советской власти и страстные враги всего «академического». Были у них, разумеется, «левые» крайности, свойственные и молодости, и первым годам революции, но, в общем, были они замечательные парни, хотя в большинстве своем занимались ужасающими вещами – например, супрематизмом. Это было и трогательно и трагично. Молодые вхутемасовцы искренне считали, что они служат Революции и Советской власти. Они варили пшеничную кашу на «буржуйках» и занимались искусством, то есть писали свои странные, трогательно детские полотна, с разноцветными кружками и треугольниками – зачастую, надо признаться, довольно приятными на взгляд.

И вот Владимир Ильич Ленин попал в эту компанию. Ему сказали, что это художники, представители самой что ни на есть ультралево-революционной интеллигенции.

Владимир Ильич посмотрел их работы. Его окружили, заговорили о литературе – о Пушкине, Маяковском и начали спрашивать мнение Владимира Ильича о «левом» искусстве. Владимир Ильич сказал: «Я совершенно этого не понимаю. Мне лично нравится Пушкин».

Тут вошел бородатый дядька и горестно сказал:

– Пушкин?

– А вам, видно, Маяковский нравится больше, чем Пушкин?

– Больше.

– Почему же?

– Потому, что Маяковский стоит за Революцию, за Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

– Вот как! – воскликнул Ленин. – Стоит за Революцию, за Красную Армию? Гм, гм... Это меняет дело.

И он, посмеиваясь, уехал.

В этом эпизоде весь Ленин – прямой, принципиальный, в высшей степени тактичный и прежде всего революционер.

Эти треугольнички супрематизма никому негодились, но из среды вхутемасовцев тех легендарных лет с течением времени вышли многие подлинные новаторы, революционеры по духу, по форме. Теперь их знают все. В их числе Кукрыниксы, Черемных, С. Образцов... И много других. Значит, какое-то здоровое начало было в их ранних новаторских стремлениях. Они искали новых форм для выражения нового содержания. Я вспоминаю об этом, конечно, не для того, чтобы найти какое-либо оправдание или подобие оправдания для ремесленного, бескрылого формализма со всеми и всяческими выдуманными «измами». Но ведь бывают и хорошие «измы». Хотя бы реализм, романтизм... Я хочу напомнить, что молодое и революционное искусство всегда связано с новаторством.

Поощрять его – святая обязанность также и нашей писательской организации. Ибо без непрерывного обновления ничто не может жить, а тем более искусство. Конечно, процесс этот сложный, и среди молодежи неизбежны люди увлекающиеся, падкие на новизну ради новизны. Но в руководстве искусством ведь так важно терпение. Нужно уметь и нам быть терпимыми и терпеливыми.

Но по отношению к поискам подлинно революционным, новаторским – таким, которые в русле социалистического реализма ищут новых струй и течений, – мы должны быть внимательны, терпеливы, дружелюбны. Ибо не идти вперед, стоять на месте – значит катиться назад.

А это было бы не по-большевистски.

1957—1961 м,

Как я писал книги «Маленькая Железная дверь в стене»

Тема Ленина давно привлекала меня. Может быть, с того самого дня, когда однажды, в конце 1917 года, отец сказал:

– Какое счастье, что во главе России стал Ленин-Ульянов. Это великий человек. Он выше Петра.

Мой отец – учитель – был типичным представителем той части русской интеллигенции, для которой Петр Великий являлся вершиной нашей государственности.

– Петр был преобразователь, – продолжал отец, – а Ленин, кроме того, что преобразователь, еще и создатель совершенно нового в истории человечества Советского государства.

Всю свою сознательную жизнь я любил Ленина и всегда мечтал написать о нем книгу. Но Ленин – неисчерпаемая тема, которую один человек осилить не может. Поэтому я решил взять какой-нибудь небольшой период жизни Ленина и попытаться на этом материале построить образ Владимира Ильича, заранее отказавшись создать что-нибудь монументальное, так как это было мне явно не по силам.

Но что это будет – роман, повесть, очерк, я еще тогда не знал.

Я стал изучать сочинения Ленина, его биографию, а главное, читать воспоминания о нем современников.

Громадную роль в этом деле сыграло мое знакомство с Надеждой Константиновной Крупской, под руководством которой я некоторое время работал в самом начале 30-х годов в Главполитпросвете.

В то время я считался главным образом поэтом и писал по заказу Главполитпросвета агитационные стихи, так называемые агитки. Они попадали на стол к Надежде Константиновне, которая их визировала. Иногда она вызывала меня к себе в кабинет, для того чтобы сделать какое-нибудь замечание по поводу моего материала, чаще всего указывая на мелкие неточности или излишества стиля, требуя, чтобы язык агиток был совершенно ясен, прост и доступен пониманию самого массового читателя. Тут же она предлагала новые темы для частушек, стихотворных лозунгов, монологов, басен, народных сценок, настаивая, чтобы они были «ультразлободневны», как она выражалась, и попадали не в бровь, а в глаз. Одним словом, здесь не могло быть и речи об искусстве для искусства или о чем-нибудь подобном. Все должно подчиняться задачам партийной пропаганды сегодняшнего дня и политического просвещения масс. С понятным волнением смотрел я на эту пожилую женщину с наружностью народной учительницы, в старых башмаках, в суконном платье вроде сарафана, с серебристо-стальными волосами, заплетенными на макушке толстым узлом, в больших круглых очках с увеличительными стеклами, которые она надевала перед тем, как прочесть мою рукопись, с одутловатыми щеками и заметно выпуклыми глазами – следами базедовой болезни, жену и самого близкого друга Ленина, этого величайшего человека нашего времени, перед которым я преклонялся. Казалось невероятным, что после работы прямо отсюда, из этого кабинета, Крупская поедет домой, где ее ждет муж – Ленин, и они будут вместе пить чай и обмениваться впечатлениями прошедшего дня, и, очень возможно, Ленин поинтересуется, как идут дела агитации и пропаганды в Главполитпросвете, и Крупская расскажет ему о сегодняшнем рабочем дне и даже, может быть, упомянет о некоем молодом стихотворце, с которым вела назидательную беседу о роли искусства в воспитании народных масс.

Я был недалек от истины. По-видимому, Крупская и в самом деле советовалась с Лениным о работе Главполитпросвета, потому что однажды, когда я накануне пятилетия Октябрьской революции принес ей большую праздничную агитку, сочиненную в духе «Мистерии-Буфф» Маяковского, Надежда Константиновна сказала:

– Вот вы все пишете агитки на общереволюционные темы, а вчера Владимир Ильич, например, сказал мне, что сейчас одна из наиболее важных задач нашей пропаганды – это рассказать народу в популярной форме о новой жилищной политике Советской власти. «Скажи своим поэтам, – заметил Ленин, – чтобы они поменьше писали агиток, поменьше занимались ненужной трескотней а лучше пусть кто-нибудь из них перечитает все наши декреты по этому вопросу, засядет и напишет хорошую популярную брошюру о новой жилищной политике Советской власти. Вот за это мы скажем ему большое спасибо». Что вы об этом думаете? – спросила Крупская. – У вас довольно хороший стиль, бойкий язык, так не засядете ли вы за такую брошюру?

Я воспринял это предложение как прямой приказ Ленина и, отложив в сторону агитки, в течение нескольких дней написал брошюру под названием «Новая жилищная политика», которая тут же и вышла в издательстве Главполитпросвета.

Это время я никогда не забуду; я жил и работал где-то в ощутительной близости от Ленина, и часто Крупская рассказывала мне о нем, о его жизни в эмиграции, в Женеве, в Париже, о партийной школе, организованной Лениным в Лонжюмо, об Инессе Арманд и о многом другом.

Все это меня чрезвычайно увлекало и еще более укрепляло в намерении написать о Ленине если не роман и не повесть, то, во всяком случае, его литературный портрет. Как-то я осмелел и попросил Надежду Константиновну познакомить меня с Лениным. Крупская отнеслась к моей просьбе просто и весьма доброжелательно, она поняла страстное желание молодого поэта увидеться с Владимиром Ильичем, поговорить с ним, лично ощутить все его громадное человеческое обаяние. Она сказала мне:

– Я с удовольствием как-нибудь повезу вас к нам вечером выпить чаю, и тогда вы познакомитесь с товарищем Лениным. Вам будет это очень полезно. Да и Володе не мешает побеседовать с молодым советским поэтом, нашим хотя и слабеньким, но все же пропагандистом. – Крупская добродушно улыбнулась. – И вы расскажете Владимиру Ильичу о современной молодой художественной интеллигенции. Но, к сожалению, в данное время он хворает и живет вне Москвы, к нему врачи никого не пускают, да и далековато ехать, так что вам придется маленько подождать. А когда он, даст бог, выздоровеет и переедет обратно в Кремль, то я вас обязательно свезу к нему Даю слово.

Но Ленин не поправился, и мне уже не было суждено увидеть его живым.

В дни его смерти, которую переживал мучительно тяжело, я написал стихотворение – первое мое произведение о Ленине. Стихи эти были напечатаны в журнале «Красная новь» – те самые стихи, отрывок из которых много лет спустя я повторил в конце своей книги «Маленькая железная дверь в стене»:

Жестокую стужу костры сторожили.
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра...

и т. д.

Как я понимаю теперь, в этих моих стихах было тайное сходство со стихами Бориса Пастернака о Петре Великом: «Был тучами царь, как делами, завален» и пр.

Так в моем искусстве появилась тема Ленина.

В начале 30-х годов я попал в Париж и сразу без памяти влюбился в этот город Великой французской революции, Парижской коммуны, город Маркса и Энгельса, Робеспьера и Марата, Вольтера, Жан-Жака Руссо, энциклопедистов. Я познакомился в Париже с фран-

цузскими коммунистами Марселем Кашеном, Вайяном-Кутюрье, с замечательным человеком Шарлем Раппопортом, даже с несколькими стариками – участниками Парижской коммуны. От них я услышал много интересного и важного о жизни Ленина в парижской эмиграции периода 1908—1912 годов. Именно тогда у меня окончательно сложилось намерение написать книгу о Ленине в Париже. Но прошло больше тридцати лет, прежде чем мне удалось осуществить свое желание.

До этого я писал о Ленине в своем романе «Зимний ветер», где изобразил Владимира Ильича в дни Октябрьской революции в Смольном. В этом же романе одна из моих героинь – Марина – вспоминает, как она ездила с Лениным – «дядей Володи» – на велосипеде смотреть на полеты первых аэропланов под Парижем, что уже явно перекликается с «Маленькой железной дверью в стене». В повести «Хуторок в степи» Петя по заданию Гаврика везет зашитое в шапке письмо по знаменитому адресу: «Париж, улица Мари-Роз, 4».

Для создания книги «Маленькая железная дверь в стене» мне пришлось несколько раз перечитать все без исключения сочинения Ленина, пройти курс в вечернем университете марксизма-ленинизма, наконец, проштудировать громадное количество воспоминаний современников о Владимире Ильиче Ленине, выбирая из них «самое драгоценное», не говоря уже о том, что я изучал «Капитал» Маркса и гениальные работы Энгельса – «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг», открывшие мне глаза на окружающий нас физический и социальный мир. Я несколько раз ездил в Париж, побывал в Италии на Капри, где посетил почти все ленинские места. К этому прибавились мои путевые впечатления, воспоминания детства, лирические размышления о судьбах революции – и в конце концов получилось произведение «Маленькая железная дверь в стене», которое недавно вышло отдельной книжкой. Я не считаю эту свою работу законченной. Вероятно, придется еще несколько раз добывать в Париже, Лондоне, Брюсселе, в маленьком городке Порник на берегу Бискайского залива, где жил Ленин, а также в деревушке Бон-бон под Парижем, где он отдыхал вместе с Надеждой Константиновной перед поездкой к Горькому на Капри, и, может быть, лишь тогда я буду считать свою работу законченной.

В заключение должен сказать, что ни над одной из своих книг я не работал с таким увлечением. И еще считаю долгом выразить глубокую благодарность своим многочисленным читателям, которые помогли мне все время добрыми пожеланиями, полезными советами и замечаниями по поводу вкравшихся в журнальный текст неточностей, неизбежных в такой литературной работе, где творческая фантазия автора тесно переплетается с историческими событиями и фактами биографии великого человека.

1966 г.

ЧАСТЬ 2.

Записки о гражданской войне

I

Осажденный с трех сторон красными, город был обречен.

С четвертой стороны лежало море.

Серые утюги французских броненосцев обильно кадили над заливом черным угольным дымом. Синие молнии радио слетали с их прочных изящных рей.

Десантные войска четырех империалистических держав поддерживали добровольческий отряд генерала Гришина-Алмазова, отражавшего наступление красных в южном направлении и защищавшего город.

По улицам маршировали живописные патрули британской морской пехоты, возбуждая восторг мешчанок своими кирпичными лицами и синими беретами.

Матросы громко ржали, непринужденно переговаривались между собою в строю и кидали лошадиными голенастыми ногами футбольный мяч, эту национальную принадлежность каждой английской военной части.

Через чугунные мосты проводили экзотические обозы греков.

Ослы и мулы, навьюченные бурдюками, мешками, бочками, какими-то лоханками и оружием, забавно выставляли напоказ любопытным мальчишкам свои плюшевые мохнатые уши и цокали копытцами по асфальту моста.

Унылые греческие солдаты с оливковыми и кофейными лицами путались возле них в своих слишком длинных зеленых английских шинелях, с трудом перенося тяжесть старомодных французских винтовок системы «Гра», висящих на широких ремнях на плече. Эти архаические ружья стреляли огромными пятилинейными пулями, очень толстыми, медными и дорогими. Каждая такая пуля весила не менее четверти фунта. Так по крайней мере казалось.

Легкомысленные двуколки зуавов, похожие на дачные мальпосты, решетчатые и качающиеся, удивляли зевак своими огромными колесами вышиною в гигантский рост шагавших рядом чернолицых солдат. Здесь были сенегальские стрелки, вращавшие белками глаз, напоминавшими сваренные вкрутую и облупленные яйца. Здесь покачивались алые фесочки тюрокосов, здесь страшно поблескивали рубчатые ножи, примкнутые к длинным стволам колониальных карабинов.

Козьи кофты французских капитанов и расшитые золотом каскеты английских морских лейтенантов торчали за столиками переполненных кафе и отражались в зеркалах казино и театральных вестибюлей.

Благодаря присутствию многих военных и штатских иностранцев, полковников и спекулянтов, международных авантюристов и дорогих кокоток, русских князей и графов, крупнейших фабрикантов и содержателей притонов город имел вид европейского.

Весна была холодной, но солнечной.

Мартовский случайный снег держался недолго. Налетал морской ветер, затем туман. Они пожирали снег, уносили его белыми тугими облаками в море, и на расчищенном, великолепно отполированном голубом небе опять блистало холодное, ледяное солнце. Улицы были полны цветов.

На углу двух центральных проспектов, возле кафе с громкой швейцарской фамилией, стояли зеленые сундуки цветочниц, заваленные кудлатыми пачками хризантем, мотыльками парниковых, огуречных фиалок и идилическими звездами подснежников.

Рядом с этими цветочными сундуками помещались столы валютных торговцев с горами разнообразных кредиток, купонов, чеков и аккредитивов, которые успешно конкурировали с прелестной, но, увы, бесполезной красотой холодных и нежных цветов.

Два потока праздных и хорошо одетых людей протекали мимо друг друга и мимо этих цветов и денег. Над толпой носились запахи трубочного табаку, английских духов, драгоценной пудры и, конечно, сигар.

Скрипели башмаки и перчатки, постукивали трости, брэнчали шпоры русских поручиков, этих удалых молодых людей, нацепивших все свои заслуженные и незаслуженные знаки отличия. Офицеры подчеркнуто козыряли друг другу, уступали дорогу дамам, говорили «виноват» «простите», опять звенели шпорами и с громким бряцанием волочили зеркальные кавалерийские сабли по граниту и бетону тротуаров.

Это был самый беззащитный, самый развратный, трусливый и ложновоинственный тыл.

II

На подступах к городу, на пяти позициях, самая дальняя из которых была не более чем за шестьдесят верст, а самая близкая – за двадцать, обманутые и одураченные легендарными обещаниями и цинично лживыми телеграммами, мерзли на батареях вольноопределяющиеся, юнкера и кадеты. Они верили в помощь англичан и французов. Им еще не надоело воевать. Они еще жаждали наград, крестов и славы. Они еще не сомневались, что большевики будут раздавлены.

Город был обречен.

Уже ничто не могло помочь.

Это могли не замечать только слепые или пьяные.

Однако этого не замечал никто. Или, вернее, этому никто не верил.

А между тем на окраинах и в рабочих предместьях люди жили своей особой, трудовой и опасной жизнью революционного подполья.

Напрасно контрразведка развешивала агитаторов на фонарях и железнодорожных мостах.

Напрасно юнкера оцепляли целые кварталы и громили десятки нищих квартир, отыскивая крамольные типографии и большевистские явки.

Каждый завод, каждый цех, каждый дом и каждая квартира были штабами, типографиями и явками большевиков.

Каждую ночь по стенам и заборам неведомо кем расклеивались серые листки, грубо отпечатанные вручную. Наутро возле прокламаций собирались возбужденные толпы рабочих.

Что могли поделать юнкерские патрули? Юнкеров были десятки и сотни, а рабочих тысячи.

Каждую ночь в пустынных улицах шли люди, перетаскивая с одного места на другое оружие и патроны. Не только револьверы и ружья – здесь были в громадном количестве пулеметы и даже морские скорострелки.

Вночной темноте раздавались тревожные одиночные выстрелы, иногда залпы, иногда короткие очереди «кольта». Шальные пули тонко пели на излете, и звенело разбитое стекло слепнувшего фонаря.

Французские артиллеристы, расквартированные на окраинах города, не могли не подвергнуться влиянию русских революционных рабочих. Незнание русского языка не могло быть

препятствием. На стенах казарм, на полосатых будках часовых, наконец, на щитах скорострелок расклеивались прокламации, написанные по-французски.

Французским солдатам начинало надоедать пребывание в этой стране, где происходила малопонятная война русских с русскими.

Они слишком много знали о социализме, чтобы верить басням своих офицеров о бандитском восстании «разбойников-большевиков».

Французские солдаты волновались и требовали скорейшей отправки на родину.

Им надоела военная жизнь, им хотелось вернуться к очагам и семьям. Они достаточно бились на Марне и под Верденом, для того чтобы позволить себе роскошь не дежурить у своих батарей и парков в этой варварской и загадочной стране, в соседстве с врагом, который был неуловим и вездесущ.

Дисциплина французских частей падала.

Солдаты не желали больше подчиняться офицерам. Они без разрешения уходили из частей и шныряли группами в предместьях, вступая в мимические объяснения с рабочими. Ночью они пели прованские песенки, потрясали серыми, пузатыми, похожими на рубчатые дыни фляжками и пили коньяк. Они вступали в драки с русскими офицерами и всячески демонстрировали свое презрение к стране, куда их насильно привезли.

III

Французское командование находилось в состоянии крайнего возбуждения и растерянности. Начальник штаба каждые два часа посылал адъютанта на радио.

Французский генерал Франше д'Эспере проносился по улицам в своем отличном автомобиле и появлялся в ложах. Этот моложавый седоватый воин, окруженный отборной свитой, думал, что он является единственным хозяином положения. Его переговоры по радио со своим правительством окружались строжайшей тайной, и никто, кроме него, не читал пакетов, которые время от времени привозили ему на линейном миноносце. Наружно он был вполне спокоен.

Русская и французская контрразведки вели параллельную работу, вследствие чего выходили постоянные конфликты и недоразумения. Французы часто считали действия русских ненужными и вредными, в то время как русские полагали французов неопытными сыщиками, которые своим вмешательством портят работу.

Работы у контрразведок было много. Работа была важная и ответственная. Она была направлена против мощной и неуловимой большевистской организации, отлично связанной с Москвой и успешно разлагавшей иностранные отряды.

Трения между двумя командованиями – добровольческим и французским – продолжались все время.

Между тем по городу распространялись самые невероятные слухи.

Говорили о какой-то измене, говорили о близком падении города, говорили об одной очень известной кинематографической артистке, имевшей близкое отношение к генералу Франше д'Эспере и игравшей выдающуюся роль в предполагавшейся сдаче города красным.

Незадолго до падения города эта кинематографическая артистка умерла от болезни, называвшейся «испанкой» и сильно распространенной в то время среди населения. Однако молва приписала ее смерть русской контрразведке. Говорили, что актриса была подкуплена большевиками и должна была заставить своего любовника, французского генерала, сдать город. На ее похороны собрались несметные толпы народа. Вход в собор, где в раскрытом гробу был выставлен ее труп, охранялся усиленным караулом. К гробу имели доступ избранные, среди которых видели и французского генерала. Он положил к ее ногам пышный букет с печальными лентами, на которых блистала французская цитата.

Нелепые слухи продолжались.

Однажды по городу прошел дивизион танков. Их видели на главной улице. Они были похожи на громадных гусениц. Они гремели суставчатыми цепями по мостовой. Витрины магазинов и фонари стрекотали, звенели и содрогались от их железной поступи. Их было восемь. Из каждого выглядывали короткий ствол митральезы и несколько пулеметов, говорили, что их отправляют на фронт для отражения красных, силы которых с каждым днем увеличивались.

Это дало повод осваговским газетам поднять тон и удалым поручикам сделаться более воинственными.

Однако отдаленная канонада приближалась. Раньше она была слышна только в очень ясные и тихие ночи, теперь же, в самом разгаре дня, за шумом города, за звонками трамваев и ревом автомобильных сирен вдруг слышались явственные, словно подземные, очереди взрывов.

Тогда, казалось, на минуту стихал городской шум, прохожие останавливались, и лица делались бледнее, тверже и напряженнее.

Почти ежедневно на центральной площади, возле собора, генерал Гришин-Алмазов принимал парады уходящих на фронт частей. Он говорил:

– Господа офицеры и солдаты! Вам предстоит сражаться с бандами жестокого и коварного врага. С нами бог! Без страха и колебания, железной стеной встретьте неприятельские пули. Бейтесь до победы. Отступления – нет. Помните, что нас поддерживают наши верные союзники – французы и англичане. Дни большевиков сочтены. Еще один молодецкий нажим – и победа за нами. Дадим же торжественную клятву победить или умереть. С богом. Пленных приказываю не брать.

Оркестр играл Преображенский марш. Сабли описывали зеркальные дуги салютов. Колеса батарей скрипели, дышла подымались и опускались, толпа дам, девиц и стариков махала платочками.

Колонна за колонной добровольческие части покидали город, уходя туда, откуда все настойчивее и тверже доносились пушечные удары.

Мне удалось побывать на подступах к городу,

IV

Я видел извилистую, еще недостаточно оттаявшую, черную, твердую дорогу, идущую вдоль морского берега. По ней, по этой дороге, тянулись в город с позиций телеги с ранеными. Раненых было немного. Гораздо больше было больных и мнимо контуженных. Близость большого, веселого и пышного города, набитого спиртом, женщинами и другими удовольствиями, являлась непреодолимым соблазном для недостаточно мужественных. Ежедневно десятки влюбленных прапорщиков и пришедших в уныние от походных лишений вольноопределяющихся симулировали контузии и болезни для того, чтобы быть эвакуированными в соблазнительный тыл. Легкораненые считали, как и всегда, впрочем, свое ранение счастьем и предвкушали внимание дам, награды и безопасность.

В деревнях и на хуторах были размещены многочисленные штабы. Оседланные лошади били копытами мерзлую землю и грызли заборы.

Вестовые казаки, очень хорошо и воинственно одетые, с русыми чубами, взбитыми над смуглыми лбами, лихо раздували самовары и чистили на порогах хромовые генеральские сапоги.

Телефонисты с «удочками» и катушками проводили линии.

Ординарцы тряслись на мохнатых сибирских лошадаках, одной рукой придерживая кожаную сумку, а другой подстегивая лошадь нагайкой.

Вдоль дороги валялись консервные жестянки и бутылки из-под удельного вина.

Дорога становилась чем далее, тем пустыннее. Через тридцать верст я достиг передовых позиций. Здесь берег образовывал бухту, в которой стоял французский миноносец.

Песчаная пересыпь бухты запирала небольшой синий лиман, переходивший в отдалении в красные солончаки. Там начиналась область, занятая красными. Их не было видно с господствующего над местностью правого берега лимана. Мне сказали, что они занимают деревни и постоянной боевой линии у них нет. На низком левом берегу была расположена деревня. В ней жили приморские крестьяне и рыбаки. Теперь там разместились части добровольческого отряда, пушки которого с небольшим числом прислуги и пехотного прикрытия были установлены на командной высоте.

Я въехал в деревню.

Деревня ничем не отличалась от тысячи других деревень, которые мне приходилось проезжать в любую из кампаний.

На пустырях и дворах стояли кухни. По улицам ходили кадеты. Возле кухни ковали лошадь.

Размещенные по избам офицеры и солдаты сидели на лавках и играли в карты. Трехцветные шевроны на рукавах защитных гимнастеров передвигались при сдаче карт и при хлопанье картой по столу. Фуражки висели на гвоздях возле икон. Американские винчестеры были свалены кучей в сених. О них никто не заботился. Они были заржавлены и забиты землей. Зато бесполезным шашкам уделялось много внимания и забот. Престарелый капитан, кряхтя и ругаясь, чистил клинок своей златоустовской шашки, с усилиями втыкая его в глиняный пол избы. Старик хозяин только качал на это головой.

Бравый вольноопределяющийся рассказал мне интересную историю о сегодняшнем ночном деле. Об этом деле говорил весь отряд.

В два часа ночи разъезд добровольческой кавалерии, в котором почему-то был и артиллерийский разведчик – бравый вольноопределяющийся, заехал в деревню, которая до сего дня считалась лояльной. Едва только отряд въехал на главную улицу, по нем была открыта пальба. Оказалось, что за последние сутки деревня перешла на сторону красных и сейчас в ней был расположен эскадрон красных партизан. Несколько партизанских всадников выскочили из темноты и атаковали добровольцев. Произошла стычка, в результате которой один добровольческий улан был тяжело ранен в голову и привезен из экспедиции мертвым. Бравый вольноопределяющийся рассказывал, как он рубил, и как его клинок с размаху ударил во что-то мягкое, и как оно (это мягкое) тяжело рухнуло под копыта его лошади. Он говорил, что его тоже хорошо огрели по голове, к счастью, не осталось следов, но что голова ахово трещит и не худо было бы эвакуироваться для поправления здоровья.

Таким образом, я выяснил, что самое типичное во всей кампании – это полное отсутствие сведений о неприятеле, о его численности и местопребывании. Местные жители были настроены весьма большевистски, и то одна, то другая деревня переходили на сторону красных, служа их частям надежным прикрытием.

В этот день стрельбы не было. Красные не проявляли инициативы. Их совершенно не было заметно.

Французская миноноска сигнализировала, что в случае дела она может открыть огонь из шести скорострельных пушек, что должно увеличить силу отряда на полторы батареи.

Затем из города прилетел военный самолет. Он опустился на пересыпи. Два летчика в кожаных куртках, пулевидных шлемах и самых модных синих бриджах вылезли из аппарата и отправились в штаб отряда передать командиру бумаги. Они выпили чаю и, рассказав несколько городских анекдотов и передав слухи, улетели обратно с донесением о том, что в районе отряда все спокойно.

V

На следующий день совершенно неожиданно в двенадцать часов стало известно, что город в течение двух суток будет сдан красным.

Еще без четверти двенадцать беспечная толпа фланировала мимо цветочниц и валютных лотков, а в двенадцать по городу покатались мальчишки-газетчики, размахивая крыльями экстренных телеграмм. Все было очень точно и определено: город отдается без боя. Французское правительство отзывает свои войска во Францию. Без иностранной поддержки добровольцы не смогут удержать город. В пять минут первого город изменился. Город был переломлен, как спичка. Совершенно обалделые генералы почти бежали в штабы, где уже заколачивали ящики. Паника была неопишуемая.

Приказ французского командования до такой степени не соответствовал тону предыдущих приказов и газет, что взволнованное население готово было объяснить случившееся самыми невероятными способами. Об измене говорилось открыто.

Однако время было так ограничено, что никто не мог себе позволить размышлять о причинах внезапной эвакуации более пяти минут.

Иностранные миссии осаждались буржуазией, желавшей покинуть город. Заграничные паспорта выдавались почти всем желающим без особых формальностей. В порту начиналось столпотворение. Тоннаж имевшихся налицо судов был недостаточен для перевозки всех желающих. Многие, отчаявшись получить место на пароходе, отправлялись на извозчиках или пешком к румынской границе, отстоящей от города за сорок верст. В городе почти исчезли лошади. Они были реквизированы. Группы тыловых офицеров выпрягали лошадей из фургонных и пролеток и уводили их в казармы. Части, стоявшие на позициях, должны были пройти через город и, захватив обозы и штабы, отступить к румынской границе.

Однако согласие Румынии принять бегущих еще не было получено, и это чрезвычайно волновало тыловые части добровольцев.

К вечеру первого дня по всему фронту загремели пушки. Красные наступали, суживая кольцо своего обхвата, и, съезжаясь, это кольцо все больше и больше напоминало петлю. Город задыхался.

Я видел громадный двор артиллерийских казарм, где были сосредоточены многие штабы добровольческих частей и несколько французских легких дивизионов. Здесь жгли списки личного состава, здесь громили цейхгаузы, набитые снаряжением и амуницией. Офицеры и солдаты вытаскивали из сараев громадные кипы белья, сапоги, палатки, валенки. Они связывали награбленное в громадные тюки и волокли в город, решив остаться и дезертировать из добровольческой армии.

Посередине двора стоял погребальный катафалк, из которого были выпряжены лошади. Два еврейских мортуса в белых балахонах, с галунами и в черных цилиндрах плакали, расхаживая вокруг катафалка. Лошадей в черных шорах и траурных султанах наскоро запрягали в набитые битком повозки. Евреи хватались за рыжие свои бороды и умоляли какого-то полковника без погон и кокарды пощадить их лошадей. Но полковник иступленно кричал: – Просите ваших «товарищей»! Дотанцевались до того, что «пролетел» сел на голову? И радуйтесь.

Этот взволнованный воин несколько раз еще повторил загадочное слово «пролетел», разумея под ним слово «пролетарий». Ему казалось, что в виде «пролетел» оно имеет некий необычайно язвительный и горький смысл. Он был прав. Это слово, произнесенное растерянным полковником, расхаживающим без погон и кокарды вокруг распряженного еврейского катафалка посередине хаотического двора казармы, и точно представлялось язвительным и горьким.

В военных и гражданских учреждениях спешно приготавливались ведомости и выдавалось жалование за шесть месяцев вперед.

Из государственного банка вывозились грузовики денег. Магазины были открыты. Получивши неожиданно крупные суммы денег, люди осаждали лавки, запасаясь хлебом и продуктами на долгое время. Наиболее молодые покупали вино. Ночь, вспыхивавшая по краям от непрекращавшейся канонады, была полна пьяным ветром и пьяными песнями совершенно потерявшихся людей. Судороги города озаменовались небывалым буйством, разгулом и пьянством.

Прожектора военных кораблей пыльными меловыми радиусами двигались по черному небу. Ревели пароходные сирены. Мчались грузовики. Гремели батареи. В ночной темноте происходило нечто неизбежное и грозное.

Измена. Предательство. Глупость командования. Слабость тыла. Вот причины падения города.

Так представляли себе положение дел почти все находившиеся в состоянии эвакуационной горячки и паники. Но это было неверно.

В действительности, же дело происходило так.

Красные войска, состоявшие преимущественно из партизан и повстанцев, теснили добровольческие регулярные отряды в течение многих месяцев вплоть до города.

На подступах к городу красные остановились. Не узнавши сил противника, не выяснив своих собственных сил и не закрепившись на занятой территории, двигаться дальше становилось безрассудно опасным. Они остановились.

В это время в городе, в подполье, велась бешеная работа по разложению французов и по учету сил добровольцев. Работа оказалась успешной. Не прошло и нескольких месяцев, как взаимоотношение сил стало ясным. Защищавших город было во много раз больше наступавших на него. Но среди защищавших не было ни уверенности в себе, ни единого военного плана. Во французских частях под влиянием большевистской агитации дисциплина несколько упала, так что при первом же серьезном деле французские штыки и пушки легко могли обратиться против собственных штабов. Греческие части имели маловоинственный вид и вряд ли могли представить серьезную опасность. Англичан было незначительное количество, и они несли лишь береговую территориальную службу. Добровольцы были развращены близостью тыла.

VI

Положение наступающих красных партизан, опиравшихся на благожелательное настроение крестьянства, на боевую опытность, наконец, на исключительное личное мужество бойцов, сражавшихся по доброй воле за свое общее Дело, было во много раз выигрышнее положения осажденных. Подобное положение решило судьбу города.

Красные только ждали некоторых подкреплений.

Наконец подкрепление настолько приблизилось, что красное командование предъявило французам ультиматум. Ультиматум французы не приняли, но отдали приказ об эвакуации.

Красные подождали два дня и в начале третьего, не дожидаясь окончания эвакуации, с трех сторон атаковали город. Добровольческие батареи в течение нескольких часов расстреляли все свои патроны и были вынуждены отступить. Французское военное судно, обещавшее поддержку на левом фланге, без предупреждения ушло в море. Дивизион танков, выдвинутый в лоб красным, завяз в грязи, и все до одного танки были захвачены повстанцами в первые часы боя. Повстанческая конница показала чудеса быстроты и натиска. Кавалерия добровольцев, довольно хорошо работавшая в небольших ночных набегах, не смогла выдержать лавы противника и показала тыл. Греческий полк, вступивший в дело на правом фланге, в двадцати верстах

от города, был потрясен обстрелом красных. Греки поспешно отступили, теряя мешки гороха, которым они кормили своих ослов, и бурдюки вина, предназначенного для солдат. Быстрому отступлению греков очень препятствовали слишком длинные английские шинели и тяжелые французские винтовки. Многие бросали их по дороге. Греческие солдаты, не привыкшие к боям, были совершенно измучены натиском красных партизан.

Отступая через город и проходя по улицам, эти оливковые добряки с рыжими унылыми усами застенчиво произносили слово, брошенное им в предместьях каким-то веселым рабочим. Он закричал им:

– Что, братцы, вата?

На жаргоне того времени слово «вата» обозначало конец, неудачу.

– Вата, – говорили греки непонятное им слово, отступая через город.

На окраинах начиналось восстание. Там бил пулемет.

На следующий день власть в городе перешла к большевикам.

Красная кавалерия на спине отступающих добровольцев ворвалась в предместья и бралась с вооруженными до зубов рабочими.

Революционный комитет, столь долгое время находившийся в подполье, занял лучшее в городе помещение и выпустил первый явный официальный и законный приказ.

Еще в открытом море дымили уходящие суда, еще кучки офицеров и штатских двигались по Аккерманскому тракту к румынской границе, еще оставшиеся спарывали с шинелей погоны и бросали в печки кокарды, а уже лихие всадники партизанского отряда, чубатые парни с красными бантами, на отличных лошадях разъезжали по улицам взятого города. Наст битого стекла хрустел под копытами лошадей. Закрученные, как лассо, петли сорванных трамвайных проводов лежали поперек мостовых.

Мальчишки бегали с красными флажками и пели «Интернационал». На аршинных столбах, поверх гигантских букв театров, кабаре и бегов, наклеивались суровые, спартанские приказы новой власти.

Так город начал новую жизнь.

VII

Начался трудный организационный период.

Нужно было все устроить, пересмотреть, сделать заново, провести в жизнь.

Нужно было вырвать гнилые корни старого быта и утвердить новый быт, быт рабочий, простой, суровый и твердый.

Всем оставшимся новая для города власть большевиков предоставляла право собираться и обсуждать коллективное устройство своей жизни.

Рабочим нечего было обсуждать. Они очень хорошо знали, как надо строить свой быт. Интеллигенция, захваченная событиями врасплох, еще не успела об этом подумать. Нужно было в самое короткое время усвоить чуждую им советскую конституцию и организовать согласно с ее требованиями.

Происходила полная путаница в понятиях и терминах. Никто определенно не знал еще разницы между государственными, профессиональными и партийными учреждениями. Каждый человек с портфелем представлялся существом высшего порядка, всезнающим и всемогущим. Сокращенные названия учреждений приводили растерявшихся интеллигентов в ужас.

В помещении бывшего Литературно-артистического кружка, сокращенно называвшегося «Литературкой», ежедневно происходили бурные собрания писателей, журналистов и актеров, столь же бестолковых, сколь и многочисленных.

Престарелые ученые, писатели с именами, не успевшие бежать издатели, актеры и местные молодые поэты заседали по многу часов кряду, пытаясь не столько договориться до дела, сколько хоть немного понять друг друга.

Свобода на этих собраниях была полная. Наиболее консервативная часть ставила вопрос о самом факте признания Советской власти. Для них вопрос «признавать или не признавать» был вопросом первостепенной важности. Они даже не подозревали, что власть совершенно не нуждается в их признании и разрешает им собираться исключительно для того, чтобы они могли лучше познакомиться с порядком вещей в Республике.

Наиболее левая часть собрания, молодые поэты и художники преимущественно, левые не только в области искусства, но и в области политики, требовали не только полного признания власти, но также и активного перехода на советскую платформу. Они призывали к сотрудничеству с рабочими и желали объединения на этой почве. Средняя, наиболее осторожная часть упорно стояла на почве чисто профессионального объединения, старательно избегая вопроса о самом признании или непризнании существующей власти.

Я видел одно из этих собраний.

В большом, очень изящно отделанном зале, где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам, разрисованным по самой последней моде, теперь стояли стулья и грубые скамьи. На скамьях и стульях сидели взволнованные, выбитые из колеи люди. В проходах толпились опоздавшие.

Я видел знаменитого академика по разряду изящной словесности, сидевшего в углу и опиравшегося подбородком о набалдашник толстой палки. Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные, глаза смотрели пронзительно и свирепо. Он весь подергивался на месте и вертел шеей, словно ее давил воротничок. Он был наиболее непримирим.

Я видел другого академика (ныне покойного), почтенного филолога, очень растерянно и по-стариковски согнувшись сидевшего во втором ряду рядом со своей женой, сухой и бойкой старушкой. Он никак не мог понять, зачем так много народа, что они хотят и почему кричат.

За столом президиума сидел рыжебородый издатель, ассириец с длинными глазами навыкате, и очень мохнатый, похожий на геральдического медведя, поэт-декадент с крупным все-русским именем.

Говорил преимущественно поэт. Он был лидер золотой середины. Очень приятным, грубоватым и убедительным эстрадным голосом он призывал собрание под знамена профессионального союза, пропуская мимо ушей вопросы о признании и непризнании. Он говорил о том, что мастерство печатника, что закон типографской буквы и закон поэтического звука – есть один и тот же закон. При этом он очень удачно цитировал Анри де Ренье, и себя, и еще кого-то из новых.

Несколько раз академик по разряду изящной словесности вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол. Неоднократно левые демонстративно удалялись из зала и были призываемы обратно во имя общего объединения.

Жена академика-филолога держала своего неуклюжего мужа за рукав и требовала, чтобы он что-то сказал собранию. Несколько раз старик подымался, вытаскивал из кармана мятый носовой платок, улыбался и садился на место, так как общий шум не давал ему говорить.

Так соглашение достигнуто и не было.

Поэт-декадент, столь подходивший для должности комиссара искусств, принужден был отказаться от общественной деятельности и заняться переводами поэм Анри де Ренье.

VIII

Между тем новая жизнь города складывалась по-своему, своим чередом. Новые государственные формы определяли формы нового быта.

Появились новые вывески с сокращенными названиями. Новые учреждения набирали штаты машинисток и секретарей. Взамен закрытых магазинов открылись продовольственные лавки и распределители. Была введена карточная система, и с утра обыватели стояли в хвостах за продуктами.

Город украшался.

На всех углах и перекрестках укреплялись громадные плакаты. Они были написаны левыми мастерами и изображали матросов, красноармейцев и рабочих. Это были первые, еще робкие, вылазки футуристов. Их плакатные матросы были великолепны. Они были написаны в грубоватой декоративной манере Матисса. Некоторая кривизна рисунка и яркость красок вполне отвечали духу времени, и примитивные детали вполне совпадали с упрощением деталей самого быта.

Поэты писали для этих плакатов четверостишия, которые читали все, начиная от попавшего в переделку фабриканта, кончая кухаркой, идущей записываться в профессиональный союз.

Повсюду открывались рабочие клубы и театры. Повсюду устраивались концерты-митинги. Известные артисты, демонстрируя свою солидарность с пролетариатом, ездили на предприятия, где с большим успехом пели оперные арии и читали Шекспировы монологи.

Однако военная гроза далеко не прошла. Город был очищен от белых, но еще во многих других местах страны враг был силен и опасен. Прошедшие румынскую границу добровольческие части на пароходах и транспортах перевозились в Новороссийск, в этот главный порт генерала Деникина, далеко еще не отказавшегося от идеи раздавить коммунистов.

Дон и Кубань были местами, где Деникин накапливал силы, собираясь обрушиться на красных. На этот раз наступление должно было быть серьезным. Английское командование снабжало части генерала снаряжением и обмундированием.

Недостатка в продовольствии не было.

Французское золото позволяло исправно выплачивать жалованье наемникам. Громадное количество пушек и бронепоездов, самолетов и танков, патронов и медикаментов было сосредоточено в руках добровольческого командования.

В разгаре весны началось вторичное наступление белых.

Генерал наступал настойчиво и энергично.

Город встревожился. Стенные газеты, в изобилии расклеивающиеся на заборах, были полны сообщениями с театра военных действий. На этот раз линией фронта была территория области Войска Донского и Кубанская область. Оттуда, имея своим центром и базой город Ростов, наступали части добровольческой армии.

Вся площадь Донецкого бассейна оказалась плацдармом жесточайших боев между регулярными, хорошо снабженными и обученными, отрядами генерала Деникина и вольными, недисциплинированными группами красных партизан.

По сообщениям газет, партизанские группы состояли из матросов Балтийского и Черноморского флотов, из кавалеристов и казаков разных частей старой армии, из волонтеров, ставших добровольно под красные знамена, и многочисленных повстанцев. В числе красных, разумеется, было немало и регулярных частей, сведенных в дивизии и армии, но их количество было все-таки далеко не достаточно для того, чтобы вести настоящую и планомерную кампанию. У красных почти не было регулярной артиллерии, а те батареи, которые входили в состав дивизий, находились в плачевном состоянии из-за отсутствия самых необходимых материалов:

керосина для чистки пушек, пакли, тряпок, измерительных приборов, «цейсов» и буссолей. Не было почти и командного состава. Старые офицеры избегали службы у красных, а унтер-офицеры хоть и были мужественными, преданными бойцами, однако не всегда могли должным образом управлять боевыми единицами.

IX

Итак, Деникин наступал. Красные партизаны, делая героические усилия и совершая чудеса храбрости, отбивались от наступающего врага, а в тылу лихорадочно комплектовались регулярные части Красной Армии.

С каждым днем город приобретал все более и более военный вид.

На каждой улице была расквартирована какая-нибудь часть. Ежедневно по городу проезжали батареи. На плацах и площадях производилось обучение призванных в армию. Во дворе воинского начальника стояли толпы поступающих на учет.

Повозки, нагруженные защитными рубашками, поясами и сапогами, выезжали из ворот цейхгаузов. Бывшие офицеры регистрировались у коменданта. Они заполняли карточки, расписывались и получали назначения в части. Штабы береговых батарей, размещенных в аристократических приморских кварталах, были переполнены призванными офицерами и фейерверкерами старой армии.

Многочисленные плакаты призывали к скорейшей организации регулярной Красной Армии. Самым распространенным среди них был плакат, изображавший красноармейца, уставившего на зрителя большой настойчивый указательный палец. Он говорил: «Ты еще не записался в Красную Армию?»

Служить пошли все.

Пошли служить в канцелярии полков престарелые чиновники, записались на батареи гимназисты и студенты, барышни заполняли многочисленные анкеты и садились за ремингтоны в бригадные канцелярии. Это были в большинстве случаев плохие служаки, рассчитывающие на обильный красноармейский паек и на бумажку, предохранявшую от реквизиций и уплотнений. Таких было много, но еще больше там было молодых рабочих, мастеровых и матросов бездействующего торгового флота. Это были надежные, преданные граждане, желавшие как можно скорее покончить с генералом и начать новое строительство.

Время отправки на фронт первых эшелонов новых частей приближалось. Все чаще и чаще на улицах появлялись реквизируемые экипажи, подъезжавшие к военному комиссариату. Из экипажей торопливо выскакивали командиры частей и их политические комиссары. Они возвращались, набитые бумагами, деньгами и инструкциями, садились в экипаж и торопились в свои части.

Части были расположены вдоль моря, на дачах. Там, среди кустов цветущего жасмина, в купях свежей акации, в жужжании пчел, в мелькании бабочек и в свисте птиц, на клумбах и лужайках стояли походные кухни, пушки, велосипеды и повозки. Там кашевары наполняли громадными черпаками котелки красноармейцев, стоящих в очереди за обедом. Там убивали быков и рубили топорами дымящиеся туши. Там пищали и кричали уточками желтые деревянные ящики полевых телефонов Эриксона.

Возле пушек спешно производилось учение.

Иногда в огородах собирались митинги красноармейцев, выносивших мужественные резолюции и желавших как можно скорее отправиться на фронт. Профессиональные организации вручали частям знамена с короткими железными лозунгами.

Еще не было единой воинской формы, еще только входил в обиход частей дисциплинарный и гарнизонный устав, еще многие командиры и красноармейцы не ночевали в частях и приходили на службу в вольном платье, подпоясанные шашками, с винтовками на плече.

Х

Наступление Деникина продолжалось.

Нужно было торопиться.

С фронта требовали подкреплений. Первыми были готовы легкий артиллерийский дивизион и два полка пехоты. Они были сведены в дивизию и подлежали отправке в первую очередь.

Я решил отправиться на фронт с первым эшелоном.

Еще за два дня до отправки в местах расположения уходящих на фронт частей было необычайное волнение. Красноармейцы, успевшие привыкнуть к тыловой гарнизонной службе, старательно готовились к походу. Они снаряжали свои походные сумки, чинили седла, проверяли телефоны и чистили пушки. В коммунистических ячейках происходили длительные совещания, после которых присутствующие пели «Интернационал».

Студенты и гимназисты, попавшие в число отправляемых, не ожидавшие и не хотевшие попасть под пули, под всякими предложениями старались остаться в тылу. Многие из них сказались больными, многие дезертировали.

Красных офицеров в то время еще не было, и высшие командные должности занимали в большинстве случаев офицеры, преимущественно из числа дезертировавших из добровольческой армии. У них тоже не было ни малейшего желания идти в бой. Политическим комиссарам приходилось бдительно наблюдать за ними, и бывали случаи, когда командиров доставляли в части под конвоем. Для Красной Армии это было очень вредно, но другого положения вещей покуда не могло быть.

Партизанский отряд, взявший город, почивал на заслуженных лаврах. Он нес гарнизонную службу и отдыхал от боев, пользуясь всеми благами тыла. Начальником этого отряда был некто Григорьев, по словам одних – полковник царской армии, по словам других – авантюрист и плут, отличавшийся, впрочем, изрядной храбростью и пользовавшийся безграничным авторитетом у подчиненных ему партизан.

Отряд Григорьева являлся как бы некоторой автономной и привилегированной единицей среди прочих частей гарнизона. Партизаны Григорьева, находившиеся постоянно в победоносных боях, захватили большую военную добычу. Будучи отлично одеты, имея много денег, провианту и спирту, они возбуждали зависть прочих красноармейцев. Никакой дисциплины григорьевцы не признавали. Вернее сказать, они не признавали никакой дисциплины внешней, в то время как дисциплина внутренняя у них была. Эта внутренняя дисциплина, основанная на доверии к своему начальнику, на боевом прошлом части и национальном единстве бойцов, была очень высока. Все красноармейцы отряда Григорьева были украинцами. В свое время примкнув к Красной Армии и наступая на добровольцев, Григорьев, несомненно, преследовал некие свои сугубо личные цели. Он мстил генералу Деникину за то, что тот не признавал независимости Украины и бился под лозунгом: «Единая, неделимая Россия». Атаман Григорьев втайне был враждебен также и политике большевиков, которые призывали к единой, всемирной коммуне. Будучи хитрым и дальновзорким человеком, Григорьев почувствовал, что своих целей ему гораздо легче добиться путем союза с Советами. Он нисколько не считал себя связанным с ними и только временно подчинялся главному штабу Красной Армии. Все время он лелеял план захватить на Украине власть в свои руки и установить собственный порядок вещей. Большевики, обманутые ложными уверениями в преданности, слишком доверились атаману Григорьеву, что повело за собой целый ряд так называемых григорьевских восстаний.

День нашего выступления был назначен.

С утра артиллерия начала грузиться в эшелоны, поданные к рампе товарного вокзала. Лошади, грубо ступая подковами по сходням, со страхом шарахались в вагоны. Солдаты вкатывали на площадки пушки и зарядные ящики, кашевары подкладывали под колеса кухонь

деревянные клинышки и размещали продукты на полках теплушки-кухни. Красноармейцы, отпущенные на несколько часов в город к семьям, собирались на рампу, суровые и молчаливые. Многие жены с детьми пришли попрощаться с ними на вокзал. Часовые расхаживали возле вагонов и ящиков с патронами. Телефонисты проводили провод вдоль всего эшелона. В командирский вагон вносили пишущую машинку, крышка которой гремела жестяным, театральным громом.

Наконец батареи были погружены. Теперь наступила очередь пехоты. Ее не было.

Вдруг с вокзальной площади послышались залпы и шум. Я побежал посмотреть, что случилось, и скоро очутился у главного подъезда, на ступеньках гранитной лестницы. Отсюда была видна вся вокзальная площадь. Посередине этой площади зеленел круглый европейский сквер, обнесенный чугунной узорной решеткой. Обычно в сквере гуляли толпы красноармейцев и девушек, соривших подсолнухами. Тут фокусники-китайцы показывали зевакам свое искусство, тут бабы торговали бубликами, тут мальчишки продавали десятками дешевые самодельные папиросы из сушеной травы.

Теперь здесь творилось нечто непонятное, но крайне тревожное. Возле большого серого красивого здания бывших судебных установлений, выходившего лепным фасадом к саду, стоял граненый броневик.

Широкоплечий матрос Черноморского флота, выставивший из тельника атлетическую, сплошь вытатуированную грудь, смотрел в толпу, расставив ноги колоколами и потрясая маузером. Две жилы в виде ижицы были натужены на его прямом, очень смуглом лбу. Толпа, косо подавшаяся подальше от броневика, угрюмо молчала. Вокзал был оцеплен матросами. Я пригляделся к толпе. Она почти сплошь состояла из солдат. Это были партизаны атамана Григорьева. Что произошло возле вокзала, нельзя было понять, но мне сказали, что два полка, назначенные к отправке, внезапно восстали, требуя, чтобы их оставили в тылу. Передавали, что эти полки, стоявшие рядом с отрядом Григорьева, распропагандированные украинскими «самостийными» шовинистами, примкнули к атаману и неожиданно как для самого Григорьева, так и для красного командования выступили против власти. Они преждевременно открыли карты Григорьева и, не получив от него поддержки, принуждены были сложить оружие. Говорили, что часть их отправилась к вокзалу, желая обратить на свою сторону артиллеристов и воспрепятствовать батареям выехать на фронт. Возле вокзала произошло столкновение с броневиком, после чего последние вспышки мятежа были затушены.

Однако взбунтовавшиеся части необходимо было совершенно переформировать, и батареям пришлось выступить в поход вне своей пехоты. Этим же вечером наши эшелоны вышли в северо-восточном направлении по Новой Бахмачской дороге.

XI

Эшелон гнали всю ночь.

Фонари мелькавших полустанков стреляли в щели вагонов, пугая лошадей. Никто не имел права задерживать поезд на станции свыше пяти минут. Последние полученные в городе сведения с фронта были крайне тревожны. Необходимо было торопиться.

Наутро я увидел, что поезд идет уже очень далеко от города. Вокруг была зеленая, весенняя степь. Реки блестели в туманных впадинах местности. Скот, оставленный пастись на ночь в поле, бродил, опустив головы, в мокрой и темной траве. Ветер дул в широко раздвинутые двери товарного вагона, принося сложную и очаровательную смесь полевых запахов. Телеграфные столбы проплывали мимо нас с удивительной быстротой, и ряды проволоки волнообразно подымались и опускались, подбрасываемые стуком колес по стыкам.

В десять часов утра мы достигли большой узловой станции; в котловине скрывался город, именем которого она называлась. Эшелон остановился. Здесь должна была произойти про-

верка личного состава. Красноармейцы выпрыгивали из вагонов и строились против состава, по линии противоположного полотна. Их лица носили на себе еще туманные следы утра, но глаза блестели на солнце, и новый путевой ветер возбуждал в них новые мысли, так не похожие на мысли, занимавшие их в тылу. Сила города, тяготевшая над ними, была разрушена.

Общая перекличка обнаружила многих дезертиров. Их списки были немедленно сданы на телеграф и отправлены по адресу военного комиссариата и чрезвычайной комиссии. На путях станции стояли также и другие эшелоны, отправлявшиеся туда же, куда и мы. Солдаты умывались, сливая друг другу воду из котелков и кружек. Очень яркая и радужная вода брызгала вокруг разноцветными каплями и, падая в густую, уже теплую пыль, сворачивалась крупными ртутными шариками.

Совершив проверку и осмотр части, командир приказал продолжать дорогу. Эшелон тронулся, провожаемый многочисленным провинциальным населением, пришедшим из города посмотреть на войска, уходящие в бой.

За день мы проехали две или три губернии. На крупных станциях везде было одно и то же. Торговки предлагали булки и яйца, мальчишки бегали, протягивая махорку, похожую на конский навоз, и дешевые папиросы. Мужики в похожих на верблюжьи свитках, подпоясанные красными кушаками, опирались на высокие палки и шурились на солнце. Матросы с бронепоездов и кавалеристы многих эскадронов, ярко и живописно одетые, рассказывали нашим красноармейцам о своих военных подвигах и о положении дел в стране.

Положение в стране было самое запутанное. Разнообразное и многочисленное население желало самых разнообразных режимов, начиная от реставрации старого и кончая введением полного анархизма. Каждый уезд и, пожалуй, каждая волость желали по-своему устроить свою жизнь, совершенно не считаясь с желаниями других уездов и волостей. Значительная часть мечтала о директории, некоторая часть требовала гетмана, очень многие были сторонниками анархиста и демагога Махно, отряды которого были повсюду. Молодежь преимущественно сочувствовала власти Советов, но недостаток агитаторов и литературы не позволял это сочувственное отношение превратить в реальную силу. Молодой Советской власти были свойственны все ошибки и недостатки молодой власти.

Дальнейшее продвижение было сопряжено с некоторой опасностью. Несмотря на то что, подобно атаману Григорьеву, Махно формально примыкал к красным и вместе с ними отражал наступление Деникина, банды махновцев на местах действовали враждебно Советской власти. Неоднократно они разбирали железнодорожные пути, нападали на поезда и отнимали у проезжавших оружие, вещи и деньги. Нередко банды махновцев достигали нескольких тысяч человек, и тогда их нападения представляли опасность даже для значительного воинского эшелона. Проезжая по наиболее опасным местам, мы становились под защиту двух бронепоездов, специально конвоирующих проходящие здесь поезда.

По дороге нам передавали о дерзких нападениях на станции, о крушении эшелонов и о многих других подвигах банд, но с нами в пути не случилось ничего худого, и на следующий день мы благополучно прибыли в город Александровск – крупнейший тыловой город фронта. Здесь наши батареи подлежали окончательному укомплектованию людьми, лошадьми и снаряжением.

Батареи пробыли в городе Александровске три дня.

Эти дни были днями напряженнейшей организационной работы.

Командиры и военные комиссары почти не ложились спать. Нужно было получать новые пушки, телефонное и обозное имущество, лошадей, обмундирование, людей и деньги.

Ежедневно на батареи приезжало высшее артиллерийское начальство. Инспектор артиллерии фронта, черноусый украинец из бывших подпрапорщиков, производил тщательное инспектирование батарей. Он экзаменовал командиров, заглядывал в каналы стволов трехдюймовок, заглядывал лошадям в зубы и предъявлял красноармейцам претензии. Это был опыт-

ный артиллерийский хозяин, не более, однако, чем в батарейном масштабе. Проявляя необыкновенное внимание к мелочам, он, однако, в силу неопытности, в крупной работе армейского масштаба упускал очень много весьма важных недостатков частей. У большинства батарейных, а зачастую и дивизионных командиров не было хороших биноклей и рогатых труб «цейса». Отсутствовали дальномеры и буссоли, а также и топографические карты предполагавшейся местности боя.

С утра до вечера командиры частей разъезжали в привезенных с собой экипажах по знойному, пыльному речному городу – из штаба в казначейство, из казначейства на вокзал, с вокзала на заводы и склады за получением необходимых мелочей для полного оборудования батарей.

Город представлял собой мужественный лагерь, сосредоточивший все роды оружия, все типы бойцов, все цвета одежд. То и дело по улицам мчались на рысях эскадроны, перестраивались, блестя штыками, полки, развевались красные знамена.

По многим типичным признакам опытный человек сразу мог определить близость фронта. Но линия наступления белых и отступления красных так быстро, неожиданно менялась, что ввиду плохой связи даже штабы не были точно осведомлены о месте сражений.

Вокруг города появлялись банды.

Здесь их было еще больше, чем в местах, по которым мы проезжали.

Город находился на левом берегу Днепра, в нескольких верстах ниже знаменитых Днепровских порогов. На правом, возвышенном, берегу орудовала большая, хорошо известная командованию и населению, банда атамана Чайковского. Чайковский был явный враг Советской власти и сторонник директории. В его распоряжении находилось несколько пушек и значительное количество кавалерии.

Заняв командные высоты на правом берегу Днепра, атаман Чайковский постоянно угрожал городу обстрелом и сильно мешал судоходству по Днепру. Почти каждый пароход, выходящий из Александровска вниз, за десять верст от города подвергался обстрелу бандитских батарей. Бороться с Чайковским было так же трудно, как и с другими украинскими бандами, обыкновенно опиравшимися на благожелательное отношение населения. Кроме того, у красных каждая регулярная часть была необходима для усиления линии фронта против генерала Деникина, где положение с каждым днем становилось все более угрожающим.

Вскоре в город прибыл штаб революционного военного совета армии, действовавшей в этом районе. Эта армия была Четырнадцатой, впоследствии так прославившейся во многих делах.

ХП

Я видел Ворошилова, командира армии, который на вокзале провожал красноармейцев. Он показался мне худым и высоким. На нем были простая кожаная фуражка и ладная кожаная куртка.

Он говорил коротко и просто. Говорил скупно, но по существу. Его слова были направлены не в сторону отвлеченных рассуждений по поводу текущего момента, но в сторону реальных требований этого момента.

Тысячная толпа уходящих на линию огня, среди которой были и наши артиллеристы, с большим вниманием и серьезностью слушала речь военачальника.

После его выступления задавали такие же простые, как и его речь, прямые солдатские вопросы, и он не торопясь, деловито отвечал на них. Во время митинга лицо у него выражало крайне сосредоточенную озабоченность.

В полночь нашу батарею погрузили в эшелон. На этот раз батарея была придана южному полку, перебрасываемому из Крыма на восточный участок фронта.

Люди этого полка были закалены в недавних боях, хорошо обмундированы и спаяны той особенной спайкой, которой отличаются солдаты, привыкшие переносить друг с другом все тяжести и опасности войны.

Командир полка, бывший прапорщик, низенький коренастый татарин, похожий на студента, человек необыкновенной силы, носивший пенсне на черном шнурке, заложенном за ухо, всю ночь, не смыкая глаз, сидел со своим помощником, наклонясь над ломберным столом, где были разложены многочисленные топографические карты.

Тяжелые медные подсвечники прыгали по ним, как лягушки, и свет двух свечей танцевал на стенах и лицах.

На Крымском фронте полк потерпел ряд жестоких разгромов. Его состав менялся трижды. Полк занял несколько городов и был известен своей храбростью. Неоднократно раненый, но всегда остававшийся в строю, командир полка был любимцем красноармейцев. Дисциплина в его части была поразительна. Теперь, переброшенный на новый фронт и попавший в новую войсковую среду, командир полка был озабочен многими важными вопросами. Он спешно по карте изучал местность, где придется биться его солдатам. Он взвешивал тысячи неожиданностей, могущих произойти в условиях этой местности. Он рассчитывал количество фуража, провианта и патронов своей части. Теперь у него прибавилась еще одна важная забота – забота о батарее, которую ему дали, и о чужом молодом полке, шедшем под его верховным командованием.

Эшелон шел с еще большей спешностью, чем при нашем выступлении. Дождь и ветер резали по крышам вагонов. Станции головокружительно валились в хвост поезда всеми своими огнями. То и дело во тьме и шуме движения громадного расшатанного состава звучали выстрелы часовых – это значило, что произошло какое-нибудь несчастье и надо остановить состав. Однако состав не останавливался. Перед рассветом с одной из площадок упала корова. Она была привязана за рога к кольцу платформы. Часовой выстрелил. Но командир не разрешил остановить поезд. Корову проволокло версту, после чего она была убита колесами.

Эшелон наш двигался на выручку группе Красной Армии, отбивающейся от добровольцев в юго-восточном направлении. О месте происходящих боев точных сведений не имелось. По словам одних, линия фронта была далеко на юго-востоке, в середине Донецкого бассейна; по предположениям других, фронт в настоящее время находился не далее шестидесяти верст восточнее станции Лозовой, к которой приближался наш состав. Некоторые утверждали, что победа перешла к красным и в настоящее время Деникин отходит к Ростову-на-Дону. Во всяком случае, к немедленным боевым действиям никто из начальников и солдат не был готов.

Часов в одиннадцать утра, в обед, эшелон пришел на станцию Лозовую.

Предполагали, что он остановится не более чем на пять минут и будет отправлен дальше. Однако нас задержали. Никто не знал причины задержки. Солдаты вышли из вагонов и разгуливали по путям. Здесь, как и на прочих станциях, бабы продавали пироги, мальчишки – махорку и девочки – великолепное топленое молоко, покрытое коричневой пленкой, в холодных до поту глиняных кувшинах.

Кроме наших солдат, на станции не было других военных. Командир ходил на телеграф, где долго оставался на прямом проводе, лично выстукивая вопросы и получая ответы, оттиснутые на выползавшей из медного аппарата длинной бумажной стружке. Долгий опыт гражданской войны научил этого человека телеграфному коду и умению обращаться с прямым проводом без помощи телеграфиста.

Выйдя из отделения телеграфа, командир не отдал никаких распоряжений, но, приземистый, злой, в громадной бурке, широкими шагами стал расхаживать по платформе, энергично ухватившись за топографическую клеенчатую, кожаную и целлулоидную клетчатую сумку.

По другую сторону вокзала, у рампы, уже стоял разноцветный новенький состав Реввоенсовета армии.

Несколько штабных в синих галифе вошли в сине-желтый вагон-микст, у дверей которого стояли часовые с ружьями-пулеметами Луиса. Два черноморских матроса с грохотом прокатили по рампе пулемет Максима. В одном месте у зеленого вагона стояли ребром два желтых ящика с пулеметными лентами. Под вагонами росла пыльная провинциальная трава. Легкий украинский зной стоял над станцией. Лениво кричал петух. Впереди, у водокачки, слабо попыхивал пар.

Там стоял бронепоезд: два угольных, наскоро заблиндированных вагона, посередине паровоз и впереди контрольная площадка, заваленная шпалами, рельсами и стыками.

В угольных вагонах были установлены трехдюймовки со снятыми чехлами.

Несколько черноморских матросов с серьгами в левом ухе сидели у пушек, свесив брюки клеш за борт вагона.

Затем реввоенсоветовский поезд ушел.

Стало пустее и тише. Пел петух.

Командир полка шагал по рампе, изредка заходя в прохладный громадный и совершенно пустой зал первого класса, где его шаги звучали плевками по плитам.

Затем произошло общее движение.

Я видел верхушку водокачки, откуда два черноморца смотрели в бинокль вдаль. Бронепоезд подвинули назад. Сзади подошел еще один эшелон.

– Передки на батарею! – закричал кто-то.

Но и батареи, и передки, и лошади были еще на площадках и в вагонах. Эта команда была бессмысленна. Составы подали еще вперед, и отцепленные паровозы, попыхивая паром, прошли мимо состава назад.

– Разгружайся!

Солдаты, уверенные, что далее придется идти пешим порядком еще верст восемьдесят, вышли из вагонов и откинули бока площадок, чтобы разгрузить артиллерию. Некоторые стали сбрасывать на землю тюки прессованного сена.

Командир полка пробежал к своему эшелону. Одной рукой он держался за карту, другой – за черный шнурок пенсне, заложенный за ухо.

Вслед за тем внезапно всякий шум совершенно смолк, и в наступившей тишине явственно слышались короткие и редкие железные попыхивания пара, бьющего в поршень. Однако в этих редких железных вспышках было нечто угрожающее. Они делались резче. Одна из них громыкнула совсем громко – в лоб.

Тогда все пришло в движение.

Люди тащили сходни к вагонам, чтобы разгрузить лошадей. Лошади прыгали и ломали ноги. Стрелки, обдергивая летние новенькие защитные рубахи, растерянно строились в две шеренги, пересчитываясь и двигая винтовки. Телефонисты тащили куда-то вправо катушки и аппараты. Кто-то страшно ругался. Составы стали опять двигать – сначала назад, а затем вперед.

Впереди, в поле, лежала цепь. Откуда она взялась, было неизвестно. Отстреливаясь, она отступала по вспаханной земле. Несколько всадников с пиками маячили на флангах, прикрывая, видимо, отступление.

Спереди вырвались две гранаты и, низко просвистав над головой, легли где-то в отдалении, за станцией. Там лопнуло два выстрела.

Люди бросались под вагоны.

Черноморцы сбегали с водокачки вниз. Бронепоезд отходил назад. Следующие две гранаты упали ближе, но наступавших не было за суматохой видно.

Паровозы отчаянно засвистали.

Следующая граната проломила крышу вокзала, и из крыши повалил дым и полетели щепки.

Кто-то скороговоркой сказал:

– Добровольческие броневики прорвались в тыл.

Ружейная трескотня приближалась. Шальная пуля щелкнула в рельс и пропела рикошетом.

Началась паника.

Через десять минут станция была почти очищена. Наполовину разгруженные составы уходили по трем направлениям: на Екатеринослав, на Полтаву и на Харьков.

Массы одиночек шли вразброд по вспаханному полю куда глаза глядят. Конные патрули тщетно останавливали бегущих. Эскадроны гнали табуны неоседланных лошадей. Военком какой-то совершенно незнакомой части ехал на бегунках, окруженный всадниками. Издали станция казалась разбитым ульем. Из нее валил дым. Над ней рвались шрапнели. Составы катились, поблескивая стеклами на опустившемся солнце.

Невидимый неприятель, бывший из морских скорострелок по отступающим, приводил в состояние полного замешательства и расстройства.

Отступив верст за пятнадцать, эшелоны остановились.

Здесь было решено подтянуться и окопаться. Но распоряжений никаких еще никто из командиров не получил. Начальники производили учет сил. Путаница была невероятная. Часть артиллерии была увезена на Екатеринослав, часть – на Харьков. Трех четвертей людей не хватало. Вечер застиг эшелоны стоящими на полустанке в нерешительности.

Командир полка, проходя вдоль эшелона, сказал адъютанту:

– Это все партизанщина. Кустарная война. Мы должны бить гадов по всем правилам.

Две гранаты резнули воздух и разорвались. Одна попала под колеса паровоза, другая раскидала в клочья прессованное сено.

Обезумевшие люди бросились бежать.

По густой желтой полосе зари, как в агонии, скакали всадники, падали стрелки, мелькали руки и ноги. Вся эта бегущая в одном направлении неорганизованная, страшная черная масса, сливающаяся с наступающей ночью, была незабываема.

ХIII

Долой партизанщину! Таков был лозунг, под которым летом 1919 года на Украине организовывали Красную Армию. Почти непрерывно армия была в деле. Разнородные, подчас автономные, отряды самых разнообразных родов оружия бились с наступающими белыми на юго-востоке Украины. Эти партизанские отряды, группы и почти корпуса, не имевшие между собой связи, не имевшие общего командования, подчинявшиеся своему командиру и не признававшие других распоряжений, действовали на свой риск и страх, отражая планомерное наступление Деникина, предпринятое по всем правилам французской и английской стратегии.

При таком положении дел боевых успехов быть не могло. И даже сила одной общей идеи, вдохновлявшей все эти разнородные партизанские единицы, была бессильной остановить наступление белых.

То и дело в тылу вспыхивали восстания, беспорядки и неурядицы. В большинстве случаев они были основаны на пустячных недоразумениях и могли произойти только в условиях отсутствия связи, агитации и единства командования.

Я видел на станции Синельниково партизанскую часть из нескольких эскадронов одного из царских кавалерийских полков. Всадники этого отряда полностью сохраняли свою старую форму (погон и кокард, конечно, не было). Георгиевские кресты, медали и прочие знаки отличия носились солдатами с полным достоинством, и с таким же достоинством, по-видимому, сохранялись все прежние традиции полка. При всем этом полк был революционен и готов был драться за Советы со всей своей доблестью.

Отряд, задержанный по каким-то причинам на несколько дней, расквартировался на станции. Солдаты отряда держались особняком от солдат других проходящих, расквартированных здесь частей. Было такое впечатление, что солдаты этого партизанского отряда считают себя главным оплотом Советов и другим воинским частям не доверяют.

В местном железнодорожном театре ежевечерне шли спектакли. Перед спектаклями устраивались митинги. Солдаты, наполнявшие театр, выходили на эстраду и говорили. Каждый говорил на своем языке и о своем. И сколько было частей, столько было мнений и интересов. Каждая часть оценивала события по-своему. Но никто не понимал друг друга.

Атмосфера была натянутая и взвинченная.

Кавалеристы партизанского отряда заполняли обычно более половины театра. Их ораторы наиболее часто говорили. Я слышал одного из них. Это был коренастый немолодой рыжий улан, по-видимому младший унтер-офицер. У него на груди висел какой-то очень странный медный священнический крест на владимирской черно-красной ленте. Выпятив грудь в коричневом мундире колесом и теребя ус, он стал говорить. Насколько можно было понять, он требовал немедленного наступления и уничтожения внешнего и внутреннего врага. Под врагами внешними он подразумевал белых офицеров, под врагами внутренними – «жидов, чеку и комиссаров». При этом он кричал: «Да здравствуют Советы!»

Керосиновые лампы с трудом пробивались сквозь тяжелый махорочный воздух. Шелуха семечек на пол-аршина покрывала пол. Из дырок полопавшегося занавеса в зрительный зал смотрели блестящие глаза актеров. Из оркестра торчали грифы контрабасов и флейты.

Батарейцы имени Ленина, проездом через станцию зашедшие в театр, были взволнованы словами, произносившимися с эстрады. Один из батарейцев крикнул оратору:

– Эй, ты, чего кресты царские на груди развесил!

Военком схватился за наган.

Внезапно все вскочили с мест. Рыжий улан, побагровевший, потный и злой, подскочил к батарейцу и взял его за ворот. Солдаты заревели. Лампы мгновенно были разбиты.

– Махновцы! – закричал кто-то во тьме и давке.

– Буду стрелять!

И вдруг:

– Берегись, кидаю бомбу!

Озверевшие люди ринулись к дверям, опрокидывая скамьи и теряя фуражки. В ту пору каждый партизан носил за поясом ручные гранаты.

Я видел, как люди выскочили на темную, грязную улицу. В совершенно черном небе несколькими разноцветными звездами блистал вокзал. Туда бежали батарейцы, спасаясь от партизан. Они размахивали ручными бомбами. Хлопнул револьверный выстрел. И еще долго партизаны ходили с фонарями по всем эшелонам, отыскивая батарейцев. Они отдирали тяжелые двери теплушек и освещали спящих. К утру все успокоилось. Но военком артиллерийской части в волнении просидел на телеграфе до утра.

Таково было это время военной партизанщины на Украине.

1920 г.

Пороги

Это было одиннадцать лет назад.

Наша батарея получила приказ выгрузиться в Александровске для окончательного укомплектования пушками и лошадьми. Мы расквартировались на окраине города, в белом здании народного училища. Наши орудия были до последней степени изношены и ржавы, а лошади больны чесоткой.

Мы обшарили все артиллерийские склады и конские резервы, но не нашли ничего лучшего.

Керосина для чистки пушек не было; лечить лошадей не стоило – с минуты на минуту мы могли получить приказ выступить.

Между тем никто даже в штабе в точности не знал, где в данную минуту находится фронт.

Город питался слухами. Бои шли по железнодорожным линиям. Иные утверждали, что нами занят Ростов, иные, напротив, передавали, что части генерала Деникина вышли на линию Матвеева Кургана и офицерские бронепоезда громят Лозовую.

В тылу вспыхивали кулацкие восстания. То и дело объявлялся какой-нибудь новый атаман – то Махно, то Ангел, то Заболотный. Одним словом, было плохо.

Однажды, выслушав вечерний доклад старшины батареи и подписав химическим карандашом рапортичку на завтрашнее довольствие, я пристегнул портупею и вышел во двор.

Густая южная ночь неподвижно висела между небом и землей, полная звезд и запаха листьев. Было начало июня. Желтый свет ложился из окон штаба в бурьян. Цветущие веники прятали колеса орудий и зарядных ящиков.

За окнами, закрытыми из предосторожности, заседала ячейка. Тени спин и фуражек то падали у самого дома, то вдруг вытягивались, как резиновые, через весь двор до коновязи, пугая больных лошадей.

Лошади всем табуном грубо шарахались в одну сторону, издавая утробное ржание и вырывая из земли колья.

– А, штоб вам повылазило, хвороба! – раздавался негромкий голос босого дневального, и он замахивался на задранные морды брезентовым ведром.

Лошади тотчас утихали. Слышался только волосяной свист хвостов.

Я открыл калитку и, широко шагая по мягкой дороге, пошел к Днепру. Настроение у меня было подавленное. Я двигался вдоль цветущих изгородей, мимо хат, едва белеющих сквозь пыльную листву вишневых палисадников. Ни в одном окне не горел огонь. Все вокруг было мертво и безмолвно.

Изредка из-под ворот выползала спущенная с цепи собака и страстно бросалась на меня с потайным, почти неслышным, рычанием. Я отгонял ее ногами шашки.

Вскоре дорога пошла круто вниз. Я ощутил реку прежде, чем ее увидел. Пресная свежесть воды охватила меня с ног до головы. Я почувствовал острый запах осоки. Почва под ногами стала легкой и упругой. Я узнал ее сразу. Это был толстый пласт высохшего ила, смешанного с тиной и обломками камыша. Совсем близко раздался крик лягушки, сходный со скребущим звуком ножа, открывающего раковину.

У самых моих башмаков захлюпала вода. Отражение звезды побежало, дробясь на уровне подошвы. Я увидел реку. Она была светлей неба.

Я разбудил лодочника, спавшего в кустах, и нанял его на всю ночь. Он вытащил из-под скамейки лодки весла. Загремели уключины. Мы поехали вверх, к порогам.

В ту пору я был очень молод и на досуге сочинял стихи. В моей старой походной тетради сохранилось несколько строк, написанных карандашом. Вот они:

*Пресной свежестью реки
Пахнут в полночь тростники,
В речке пляшут огоньки.
В тишине прохладных плавней
Ветер воду бьет крылом.
Все быстрее и своенравней
Вьются струйки под веслом.
Сон к воде осоку клонит;
Потемневший берег тонет
В полумраке голубом.
Гладь реки светла, как воздух,
Берега темны, как лес,
И в туманных млечных звездах
Мы висим меж двух небес.*

Лодка вышла на середину реки и упрямо плыла против сильного и широкого течения. Порывы нежного ветра приносили с берега запах цветущей акации и залиvistый лай деревенских собак.

Вдруг раздался отдаленный пушечный выстрел. Ночь дрогнула. Двойной шум эха пролетел по выпуклой поверхности реки, потрясенной до самого дна. Небо покачнулось над головой, как зеркало. По звездам бегло пролетела зарница.

– Что это такое? – спросил я, тревожно наклоняясь вперед.

Лодочник продолжал не торопясь выгребать против течения.

– Це батько Чайкивский людей пугает, – после некоторого молчания сказал он. – Мабуть, заметил на реке якись пароход и бабахнул.

Верстах в семи от Александровска, вниз по течению, на правом берегу действительно хозяйничала банда атамана Чайковского. Я уже слышал о нем. Ночами он ставил пушку в камышах и стрелял по судам, проходящим мимо. На днях он потопил пароход.

Я ждал второго выстрела. Его не последовало. Становилось ощутительно свежей.

Послышался шум порогов. Приближалось утро. Вода и небо обменялись тонами. Раньше вода была светлей неба. Теперь небо стало светлей воды.

Река на порогах шумела, как сотня мельниц. Мы шли вдоль дикого острова Хортица, вдоль плоской полосы песка, заросшего камышами и вереском. Дальше берег Днепра громоздился глыбами серого гранита. Чудовищные его обломки во множестве валялись, как после циклопической битвы, посередине реки, преграждая ее течение. Стесненная вода сердито бурлила и рвалась среди них, отыскивая ходы и покрывая сивый гранит бешеной своей пеной.

Сделалось свежей. Далеко на правом берегу, в Кичкасе, стали запевать вторые петухи, может быть третьи. Но эти два шума – говор порогов и пение петухов – не смешивались между собой. Они существовали отдельно. Стоило прислушаться к петухам, как тотчас умолкал Днепр. Стоило прислушаться к Днепру, как ухо теряло петухов. Я вспомнил Фета: «...то мельница, то соловей...»

Лодку стало крутить. Я попросил повернуть обратно. Сделать это было не так-то легко. Лодка перестала слушаться весел. Мы попали в ловушку. Скрещивающиеся течения, шелкая камешками, бросали нас во все стороны. Они ударяли то в правый борт, то в левый. Иногда мне казалось, что вот сейчас мы налетим на скалу и разобьемся в щепки.

Однако лодочник оказался человеком бывалым. Не теряя спокойствия, он осторожно, как бы исподволь, почти не работая веслами, выводил лодку из водоворота, не давая ей коснуться камня. Минут десять продолжалась эта упорная, кропотливая борьба с обозленной водой.

Мне оставалось одно – лечь на ловкость лодочника. Я растянулся на корме лицом вверх и, обеими руками поддерживая на затылке фуражку, смотрел в хмурое утреннее небо. Оно качалось и поворачивалось надо мной всеми своими поредевшими утренними звездами, вызывая головокружение и тошноту.

Будущее казалось мрачным, настоящее – безвыходным. патронов нет, пушки изношены, лошади больны, связь с фронтом порвана, со всех сторон измена, сбоку Махно, в тылу Чайковский.

История, как необузданная река, несла революцию и Республику по своим порогам, по чудовищным обломкам прошлого, каждую секунду готовая разбить нас в щепки, завертеть и навсегда покрыть ядовитой пеной.

Утро свело с неба последние звезды. Заря наливалась, как вишня. Когда мы вернулись, солнце уже всходило. В пыльных садах щебетали птицы. Моя гимнастерка и вязаные обмотки были мокрыми от росы. Через прохладную дорогу переходили розовые гуси. Под телегой брело ведро. В соборе звонили к обедне – была троица.

На батарейном дворе стояли пушки, испещренные солнечными лучами, бьющими почти горизонтально сквозь мокрый бурьян.

Чесоточные лошади тяжело переступали на месте, терлись крупами и нежно трогали желтыми зубами, покрытыми зеленой слюной, содрогающуюся веревку коновязи. Над ними летали синие мухи.

В окнах еще виднелся свет. Но окна уже были открыты настежь. Из них выходил табачный дым. Заседание ячейки только что кончилось. Пели «Интернационал». Кашевар разводил огонь в походной кухне. Завхоз, сидя спиной к ослепительному солнцу, развешивал продукты. Все пришло в движение.

Полчаса назад был получен приказ грузиться. В пять часов вечера мы отправились на фронт.

До самой погрузки я и политком метался в грязном дивизионном экипаже по знойному, пыльному и равнодушному городу в поисках биноклей, бусселей, оружейного сала, керосина, патронов, упряжи.

Я навсегда запомнил невероятно длинный сквер Соборной улицы, вывески парикмахеров, деревья, названия которых не знал, так хорошо знакомые мне с детства деревья с кучками крылатых семян, висящих под многоугольными листьями, как гроздь зеленых стрекоз.

Солнце пекло наши спины. Кожа внутри околышей фуражек была полна горячего пота. Проезжая мимо пристани, мы решили выкупаться. Стоя по горло в прохладной воде, я видел черепичные крыши сонного города и синеватые тучи, собирающиеся над ними. Мимо проплыл тяжелый баркас.

*Бегут по желтой речке
Лиловые колечки
И тают за кормой.
На пристани, за баркой,*

*Куря, в рубахе яркой
Стоит мастеровой.
За ним светло и сонно
Блестит стекло вагона,*

*Как белый огонек.
А вдалеке, на горке,*

*Сквозь синий дым махорки
Скучает городок.*

Таков был мирный пейзаж Днепра и города Александровска, изображенный мною в той же походной тетради.

К пяти часам погода испортилась. Пошел парной дождик. Лошади скользили и падали на колени, всходя по мокрым сходням в вагоны.

Несколько эшелонов, прибывших утром, стояли на путях. До сих пор безлюдная, станция была переполнена проезжими красноармейцами. По перрону катили пулеметы. Армейские повозки и кухни превратили станционный сквер в базарную площадь. Шелуха подсолнухов и кабачковых семечек, плотно вбитая в черную землю гвоздатыми башмаками пехотинцев, дополняла сходство.

Всюду мелькали красные панталоны кавалеристов, банты на фуражках, матросские воротники, деревянные ящички маузеров, звезды, оружие и юбки красноармейских баб.

Командиры и политкомы подъезжали в реквизированных экипажах.

Член Реввоенсовета армии, луганский слесарь Клим Ворошилов, держал речь перед бойцами. Он стоял, дымящийся под дождем, на патронных ящиках, сложенных в штабеля на дебаркадере. Мгла митинга окружала его со всех сторон. Слова его были просты и голос сорван.

Ударил музыка. Толпа закричала. Заходящее солнце изнутри осветило истощенную тучу. Туча стала цвета клюквенного киселя с молоком.

Мы сели в вагоны. Поезд тронулся.

Солнце блистало красным леденцом на трубах уплывающего оркестра. Эшелон вырвался в поле. С открытой площадки упала привязанная за рога корова.

Часовой выстрелил в воздух. Комендант приказал не останавливаться. Корову проводило километра полтора за поездом, прежде чем ее пестрая туша не скатилась под откос.

Яркие, свежие, вымытые дождем и дожелта отлакированные зарей, крутились вокруг эшелона поля. Бойцы сидели в дверях теплушек, свесив вниз босые, натертые обувью ноги. Гармоники и балалайки гремели по всему составу. Ветви украшали по случаю троицы вагоны. Перловые капли прошедшего дождя дрожали и катились по слегка привявшей листве белой акации и черемухи.

Поезд шибко летел в надвигавшуюся с востока темноту.

Это было ровно одиннадцать лет назад.

Много с тех пор утекло воды в Днепре. Алесандровск называется теперь Запорожьем. На днях из окна вагона, с высокой железнодорожной насыпи, я увидел и сразу узнал его гончарные крыши. Они ползли внизу, среди вишневых садов, медленно обгоняя друг друга и рябя вдали черепичной сплошью. Они напоминали Баварию. За ними не столько виднелась, сколько ощущалась большая вода.

Было яркое июньское утро. Ночью шел дождь. С поля дуло удивительным ветром.

Я бы ничуть не поразился, увидев вдруг под откосом убитую корову, – до такой степени был знаком мне этот пейзаж. Он навсегда врезался в память с той неистребимой ясностью, с какой до конца жизни запоминается стена, под которой в детстве копал перочинным ножиком ямку, или трава, по которой впервые шел в бой.

«Прошло одиннадцать лет, и ничего не изменилось с тех пор вокруг».

Так должен был бы написать я, если бы подчинялся традициям старого литературного жанра. Однако это совершенно невозможно. Эпоха разошлась со стилем. Старые формы не отвечают более объему и качеству нового содержания. Так же, как этот имеющий для меня одиннадцатилетнюю давность пейзаж не в состоянии был вместить в себя признаков нового своего назначения и места в мире.

Новое гранитное шоссе, стесненное старыми домиками, вместо того чтобы прямолинейно пересекать местность, принуждено было извиваться и корчиться, как рельс, вытасченный из пожара. Серые автобусы и легковые машины новейших выпусков и лучших марок бегали взад и вперед, салютуя друг другу молниеносными вспышками металлических частей. Они рвались вон из поля зрения и в конце концов вырывались, входя и выходя вон из пейзажа.

Мы обгоняли, и нас обгоняло множество длиннейших товарных составов.

Площадки и вагоны были гружены лесом, туфом, железом, цементом, песком, продовольствием.

Подобное движение бывает в ближайшем тылу очень важного участка военного фронта перед решительными операциями.

Местность все более походила на прифронтовую полосу. Гора вырытой почвы – светло-желтая насыпь фортификаций – пересекла ландшафт.

Она тянулась влево, пропадала среди домов и деревьев, вновь показывалась и опять пропадала. Это была строящаяся железнодорожная ветка. В последний раз она появилась очень далеко, и ее профиль резко возник на синеве третьего плана.

За ним высилось нечто неразборчиво-гуманное, большое и до такой степени «выходящее вон» из знакомого пейзажа, что невольно являлось сомнение: да полно, здесь ли я был одиннадцать лет назад, не ошибся ли местом?

Там стояли в ряд смутные силуэты зданий. Они сливались в лиловый и длинный профиль некоего – скорей воображаемого, чем существующего – города, даже не города, а порта с его элеваторами, эстакадами, кранами, пакгаузами, маяками.

Мы издали огибали мираж, постепенно и крайне осторожно приближаясь к нему с фланга.

Иногда он, этот мираж, действительно пропадал, как бы рассыпался, но вскоре опять возникал с увеличенной ясностью.

Справа и слева открылся покрытый островами Днепр. Поезд взошел на мост. Железный шум ударил в гранитные берега. Броневое эхо встало во всю головокругительную высоту – от шибкой воды до переплетов моста, замелькавших, как рубашка тасуемых карт.

В левых окнах вагона, уже ничем не скрытая от глаз, от начала до конца развернулась поперек реки панорама строительства. Река была перегорожена, завалена, засыпана, заделана, замурована. Дерево, камень, земля, железо, цемент, наваленные и наложенные в кажущемся беспорядке между берегами, представляли черновой набросок гигантской плотины, над которой местами подымались белые султаны ползающих паровиков.

Впрочем, одна часть сооружения представлялась совершенно сделанной: это было семь узких пролетов высокой и светлой плотины, выведенной из левого берега до четверти реки.

Издали оба берега, насколько хватало зрения, казалось, кишели муравьиной жизнью и были засыпаны щепками.

Мелькнуло множество кранов, вагонов, зданий. Но всех подробностей невозможно было рассмотреть. Мост кончился. Правый берег закрыл картину.

Осталось только впечатление большого и необычного.

До того необычного для земледельческой России, что один из нас сказал, вцепившись руками в оконную раму:

– Н-да! Действительно... Вот тебе и Миргород! Вот тебе и вечера на хуторе близ Диканьки! Америка! Детройт!

Слово было найдено. Детройт! Индустриальный пейзаж. Так вот как она будет выглядеть, наша «избяная, кондовая, толстозадая», когда через несколько пятилеток покроется сетью таких «детройтов»!

Мы подъезжали к станции. Рабочие бараки, чистенькие, новые, с белыми односкатными крышами, на которых – лозунги о пятилетке, индустриализации, трудовой дисциплине.

На площадке молодежь в майках играла в футбол. Луга вокруг были покрыты бурьяном, распустившимся желтым цветом. Над лугами мерцали бабочки-капустницы.

Поезд остановился. Из открытых окон маленькой станции – дикого домика – слышались разнотонные звонки служебных телефонов и провинциально громкие голоса, настойчиво вызывающие телефонную барышню. Но в общем, вокруг было тихо, солнечно и безлюдно.

Автомобиль понес нас по дороге, мимо совсем молоденьких палисадов и бараков, которых оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Целый поселок. Но это были только самые отдаленные подступы к главному. Затем пронеслись склады продовольствия. Своими низкими крышами, обложенными дерном, своим уединением, будками сторожей и проволокой, окружавшей их, они напоминали пороховые погреба на лугу между военным городком и стрельбищным полем.

У пожарной части, мелькнувшей открытыми своими воротами и широкими окнами выставочного павильона нового стиля, стояли безукоризненно красные пожарные машины.

Широко и свободно разбитые всюду, где только можно, зеленые насаждения крутились, поворачиваясь радиусами аллей, и в шашечном порядке переставляли вокруг автомобиля молоденькие свои деревца. Как видно, здесь всюду происходила упорная, плановая борьба с пылью и песком. Деревья пересаживали десятками тысяч, некоторые старые деревья привозили на грузовиках вместе с почвой.

Мы свернули на шоссе и полетели мимо строящихся и уже выстроенных зданий, мимо штабелей кирпича, фундаментов, сваленных в кучи железных труб и батарей паро-водяного отопления.

Мы увидели очаровательный поселок красных аргентинских коттеджей с высокими, остроконечными крышами, с цветами в палисадниках, велосипедами у калиток, теннисом.

Тут жили иностранные инженеры. Они не хотели к нам ехать. Они боялись. Они требовали комфорта и уюта. Им предложили высказать свои пожелания и вкусы. Они остановились на уюте аргентинских коттеджей. Со сказочной быстротой в запорожской степи возник аргентинский поселок. Иностранцы развели руками.

Дома стали гуще и крупнее. Движение на шоссе – энергичнее. Мы приближались к центру города. Мелькнула внушительная фабрика-кухня – серое здание в стиле Корбюзье – стекло и железобетон, – и, круто повернув, машина остановилась возле трехэтажного дома «трестовского типа», с небольшой черной стеклянной дощечкой у входа: «Днепрострой».

По лестницам бегали работники управления. На стенах висели профсоюзные анонсы. Из открытых дверей слышалось щелканье унтервудов. Учреждение жило типичной будничной учрежденческой жизнью.

И из открытого окна кабинета главного инженера, кабинета, обставленного мощной, комфортабельной кожаной мебелью, выклеенного по стенам чертежами и планами (белое по синему), с полотенцем, висящим возле фаянсового умывальника, с газетами и отчетами, наваленными на столе, просторном, как теннисная площадка, – из открытого окна этого кабинета мы увидели молодой пыльный бульвар и за ним, совсем близко, могущественный хаос стройки, громоздящийся между двумя берегами совершенно подавленной реки.

Грохот, визг, шип, свист, скрежет наполняли всю ширину квадратного окна.

Два дощатых щита стояли над деревьями против дома – две громадные артиллерийские мишени, испещренные статистическими столбиками и цифрами. На одной доске было написано «правый берег», на другой – «левый берег».

Это были показатели соревнования двух берегов по бетонированию в кубометрах за май месяц, и, как явствовало из ежедневного графика, левый берег систематически отставал.

Сначала мы не успели рассмотреть деталей. Их подавило общее. Теперь детали глушили общее. Внимание было разбито вдребезги. Каждый миг его привлекали к себе тысячи мелочей. Мы сошли вниз.

Пологий берег, пыльный и горячий, сплошь заваленный строительным мусором, щепками, шпалами, гвоздями, бревнами, досками, рельсами, бочками, трубами, проводящими сжатый воздух, содрогался под тяжестью американских паровиков и механических железных площадок, бегущих во всех направлениях по наметанным на живую нитку подвижным путям. То и дело приходилось, услышав их короткий крик, шарахаться в сторону и, прижавшись к деревянным перилам, пропускать мимо себя облитые маслянистым кипятком туши, норовящие нас задеть стальным локтем или толкнуть литой тарелкой буфера.

В тени наскоро сколоченных барачков, заклеенных лозунгами и приказами, стояли баки с кипяченой водой.

Длинная шеренга автоматических, самопрокидывающихся в любую сторону американских площадок, ожидающих своей очереди, стояла перед входом в гигантское, серое, деревянное, сараеподобное здание, принятое нами издали за элеватор.

Площадки были нагружены глыбами гранита. Оглушительный гул сотрясал изнутри стены. Земля ходила под ногами.

Каменная пыль, мелкая как мука, тонким туманом стояла вокруг здания, напоминавшего паровую мельницу.

Это, впрочем, и была мельница, только мельница, превращавшая глыбы гранита в щебень, – камнедробилка.

Мимо часового мы вошли внутрь. Визг и грохот стоял адский. Не слышно было собственного голоса.

Шаткая, деревянная, очень узкая лестница вела вниз, в прохладный подвал, вырубленный в скале.

Там стояла простая по форме, но непомерно большая по масштабу машина.

Представьте себе электрическую кофейную мельницу, такую самую, какие бывают в магазинах Чаеуправления, с двумя маховичками по бокам, но только увеличенную в несколько тысяч раз.

Чудовищные маховики с удивительной легкостью и эластичностью, с ног до головы обдавая большим ветром, кружились среди смятого воздуха.

Циклопические приводные ремни с шелковым, порхающим шелестом улетали по диагонали так далеко вверх, что в конце перспективы – на тошнотворной высоте, на шкивах – казались уже не шире тесемки, в то время как вблизи, на маховике, шириной превосходили человека.

Автоматическая площадка опрокидывалась над пастью мельницы.

Куски днепровского гранита, каждый объемом с добрую четверть средней московской комнаты, нехотя ползли вниз, задерживались на краю, содрогались и, неуклюже переворачиваясь дикими своими гранями, вдруг ссыпались, как рафинад из кулька в сахарницу, в разинутую зубастую пасть прожорливой машины. Она медленно поглощала их, в строгом порядке хватая стальными челюстями, и со скрежетом размалывала.

Только каменная мука подымалась над кратером, заставляя чихать.

Равнодушный малый с засученными рукавами и в фартуке меланхолично кропил из шланга каменную мешанину, из которой редким золотым дождем сыпались искры, как с точильного камня.

Кроме этого меланхолического малого со шлангом и часового в дверях, никого больше не было видно вокруг. Гудели динамо, вырабатывая ток высокого напряжения.

Выйдя из камнедробилки, мы увидели с другой ее стороны три окошечка, из которых по желобам сыпался размолотый гранит трех сортов в площадки, равнодушно ожидающие своей очереди.

Карабкаясь по валким лестничкам и трапам, ежеминутно наклоня голову и увертываясь от пролетающих внизу железных ящиков с бетоном, мы наконец взобрались на самую высшую точку строящейся плотины, примерно на середину Днепра.

Отсюда Днепр, весь обложенный решетчатыми деревянными рамами, напоминал древнюю Трою, осажденную современным человеком. Железные катапульты паровых кранов размахивали перед ней болтающимися на цепях тоннами камня и бетона.

Я увидел площадку, груженную этими гранитными снарядами. Каждая глыба весила несколько тонн. В гранит было вделано железное ушко. Поднятая за ушко краном, скала болталась над нами в небе, как сережка.

Глядя сверху вниз, мы испытывали головокружение. По обнаженному каменному дну Днепра ходили люди. Каждый сверху казался не больше обойного гвоздика.

Сочетание чудовищных архитектурных масштабов с человеческим ростом вызывало в воображении Гулливера, связанного лилипутами. Скрученный по рукам и ногам, с серыми волосами, привязанными к кольям, обставленный лестничками, по которым бегали крошечные победители, Днепр корчился, как Гулливер, тяжело дыша и бесплодно напрягая мускулы.

Архитектурные масштабы были так грандиозны, что те две с половиной тысячи рабочих, которые в данный момент работали на плотине, производили впечатление двух или трех десятков. Вообще людей почти нигде не было видно. Все строительство было механизировано.

Мы перешли с правого берега на левый. Взятый за горло человеком, Днепр бушевал и рвался через семь пролетов законченной части плотины. Он бурлил, плевался, протестовал, но ничего не помогало.

Никто на него не обращал внимания. Старик рыбак закидывал в мутную кипень свой бредень, и босой милиционер с фуражкой на затылке равнодушно шел через понтонный мост, неся на бечевке вязку красноперых лещей.

На левом берегу в скалах вырубали прямолинейный коридор шлюза. Гремели пневматические сверла, работающие сжатым воздухом.

Рабочий в парусине и очках, как зубной врач, стоял, напирая на рукоятку инструмента, похожего на стержень бормашины. Инструмент дрожал и подскакивал, сверля, как зуб, гремучий гранит породы. В высверленное дупло заложат патрон, прозвенит сигнальный колокол, люди шарахнутся в сторону, и циклопический осколок отскочит от массива.

Вечером мы снова поехали из Запорожья на Днепрострой. Автомобиль промчался по бывшей Соборной, ныне улице Энгельса, той самой, по которой некогда метался я в пыльном дивизионном экипаже, ища снаряжения для батареи. На улице было полно гуляющего народа. В будках горели разноцветные сиропы. Все это напоминало южный итальянский городок.

Мы вырвались на шоссе. Я узнал беленький домик школы, где стояла батарея. Деревья вокруг него сильно разрослись и возмужали. Очень чистая заря лежала перед нами розовой полосой. Светлые электрические созвездия висели в заре, множась и ярчая по мере нашего приближения. Вскоре весь горизонт сверкал электричеством, как бледная золотая россыпь. Мы въехали на мост.

– Вы едете на два метра под водой, – с улыбкой заметил инженер.

– Как это?

– Очень просто. Когда мы выстроим и закроем плотину, уровень Днепра подыметесь до этих пор.

– Это чудовищно... Невероятно! Мистика какая-то!

Проезжая по Кичкасу, мы видели каменные домики, освещенные парикмахерские, кооперативы. На автобусной остановке сидел на лавочке народ. Баба торговала кабачковыми семечками и леденцами. Все было тихо и мирно.

– Здесь вы тоже едете под водой, – с упрямой улыбкой заметил инженер. – Торопитесь рассматривать Кичкас: через год здесь будет дно.

– Как! А дома? А деревья?

– Дома куплены на снос, – это Днепрострою обошлось в семь миллионов, – а деревья мы выкопаем и пересадим повыше.

– Чудовищно!... Невероятно! Мистика!

– Но факт!

Заря погасла. Днепрострой сверкал грудями звезд, сведенных революцией с неба на землю.

1930 г.

Москва этим летом

Будущий романист, изучая материалы и роясь в архивах, быть может, наткнется на эти беглые заметки. Пускай они послужат ему «сырьем» и помогут найти колорит главы, относящейся к лету тысяча девятьсот тридцатого.

Этим летом мы жили в атмосфере растущих темпов.

Республика меняет лицо. Аграрная страна превращается в индустриальную. Всюду идут ломка, чистка, выкорчевывание, планировка, закладка, стройка.

Небывалое по размаху реконструктивное движение всего Союза отражается в каждом уголке моего бытия.

Я встаю утром и подхожу к окну. Двор заставлен штабелями кирпича. Вчера их не было. Вчера в мое окно заглядывали извозчичьи лошади. Пока кучера пили чай и водку, они стояли рядом, пролетка к пролетке, и жевали овес. Их торбы качались, как привязанные бороды халдейских мудрецов и звездочетов святочного балаганчика. Печально и обреченно они смотрели в мое окно, помахивая сухими хвостами. Это был типичный московский извозчичий двор – с трактиром, драками, голубями и свистками милиционеров.

Сегодня уже лошадей нет.

Солнце, отраженное яркими штабелями кирпича, наполняет мою комнату веселым желтовато-розовым сиянием стройки.

Дети роются в песке и палками барабанят по сорванной с фасада вывеске: «Номера „Волга“».

Что здесь будет?

Совершенно ясно – гараж.

Автомобили медленно, но верно вытесняют традиционного, ультранационального московского извозчика, и скоро вместо извозчичьих чайных и трактиров на углах будут изящные стеклянные павильоны и колонки для питания автомобилей бензином.

Их уже в Москве несколько, этих нарядных колонок-сосок...

«Знаменитые» русские, в частности московские, мостовые – злейший враг автомобиля.

Никакая, даже самая лучшая, самая дорогая, заграничная машина не может выдержать длительного мотания по корявому булыжнику, по ухабам и колдобинам расейских «авеню» и «стритов».

Нет, каковы слова: «ухабы», «колдобины», «выбоины»!...

Недаром извозчики сложили поговорку: «С горки на горку – барин даст на водку».

Надо полагать, что все части этого «расейского» афоризма скоро будут аннулированы и выведены из быта.

Во всяком случае, «барина» уже вывели. «Водку» тоже выведем. А что касается «с горки на горку», то с вышеупомянутыми «горками» идет самая беспощадная борьба.

Корявые московские мостовые решено в ближайшем будущем окончательно ликвидировать. Ликвидация начата. Начата широко и бурно.

Москва разбита на участки.

В некоторых местах прекращено движение.

Там улицы похожи на траншеи. По ночам идет бой.

Рабочие рассыпаются в цепь. Слышатся грохот и водянистый звон перетаскиваемого трамвайного рельса. Поют натужившиеся люди:

Ну-ка, разом, ну-ка, сразу, ну-ка, раз-з-зз!...

Нужно в промежутке между последним ночным и первым утренним трамваями переложить целый участок пути, Иногда – всю улицу. Таковы темпы.

И ослепительная, сверхлазурная звезда автогенной или электрической сварки лежит на вспаханной улице, бросая вокруг себя длинные радиальные тени людей.

К электрическим трамвайным проводам подвешены на медных крючках целые рампы с тысячесвечовыми лампочками.

Небо за вокзалами начинает наливаться морской водой зари. Заревой свет приливает с каждой минутой. Тысячесвечовые лампы сияют лучистыми елочными игрушками.

Ну-ка, разом, ну-ка, сразу, ну-ка, раз-з-ззз!...

Готово! Участок пути переложен.

Утро. Первый трамвай скрежещет по обновленным рельсам. Но вокруг рельсов нет мостовой. Выемка. Земля.

Горы вынутого булыжника лежат на тротуарах.

Тут будет асфальт или бетон.

Бегут газетчики. Гремят бидоны молочниц. У кооперативов останавливаются грузовики с хлебом. Над полуразобранной церковью – над колокольней, похожей на кулич со срезанной шапкой, – летит пассажирский самолет «Москва – Тифлис».

Москва проснулась.

У бульвара собралась толпа... Что такое?

– Мостят!

Великолепный «Рех Равер» – машина по бетонированию – ползет вдоль улиц, освещенных утренним солнцем. Фыркает напористый мотор. Стучат рычаги. Тонким туманом стоит мраморная пыль над толпой.

Булыжник на глазах у всех превращается в щебень; щебень выползает каменной кашей из машины и устилает гладким накатом улицу.

Ползет машина. Ползут из машины километры великолепного бетонного шоссе.

Километры новой Москвы!

Их уже много, этих километров. Мы и оглянуться не успели, как многие московские булыжные корявые мостовые («с горки на горку») превратились в гладкие, легкие, лаковые шоссе...

Иные улицы кроют гудроном.

Я видел небольшой трактор-каток марки «Шпрингерфельд-Буффало».

Часть улицы была, как бутерброд, намазана паюсной икрой гудроновой массы.

И по этому бутерброду разезжал, трамбуя, красавец «Шпрингерфельд-Буффало».

Энергичный малый в сиреновой рубаше – галстук бабочкой – с засученными рукавами стоя управлял трактором. Мускулы на его загорелой руке были напряжены. Фетровая шляпа лихо сдвинута на затылок. Из длинной трубочки к серому московскому небу восходил голубоватый дымок английского табака. Он ловко переставлял рычаги, заставляя своего моторного коня то бросаться вперед, то пятиться назад, поворачивать, останавливаться.

Кучка любопытных – преимущественно девушки – разинув рты, с восторгом и трепетом следила за ловкими манипуляциями молодого американского инструктора, столь невозмутимо, четко и безошибочно разглаживавшего феодальные морщины на лице омоложенной революцией старушки Москвы.

Признаться, мне стало немножко досадно, что лавры общественного внимания пожинает иностранец.

Впрочем, через двадцать минут мой вполне простительный, немного наивный советский патриотизм был вполне удовлетворен на следующем углу, где работал другой «Буффало».

Там трактором управляла простецкая, нашенская, курносая девушка-комсомолка с алым платком, съехавшим набок и открывавшим русые кудряшки.

Не менее ловко, чем американский молодчик, девушка наша бросала своего моторного коня вперед, осаживала его, поворачивала, стопорила... Кучка любопытных – преимущественно парни – с разинутыми ртами глядели на девушку, на ее загорелую руку, на ее серьезно сдвинутые брови, плотно сжатый рот и веснушчатый, похожий на кукушечье яйцо, нос, покрытый мелкой росой пота.

Общий ремонт улиц временно превратил Москву в ад.

Трамвайные и автобусные маршруты меняются ежедневно, ежечасно.

Сесть на нужный вам трамвай так же трудно, как выиграть в лото. Вообще езда в трамвае сейчас похожа на игру в лото. Судьба наугад вынимает из серого мешка улицы смешанные ремонтом бочечки трамвайных номеров. Очень редко они совпадают с нумерованными картами таблиц, выставленных на остановках.

На табличке – 1, 34, 4, 6...

Судьба вынимает вам – Б, 8, 17, почему-то 45 (и чину такого нет!)...

Что касается такси, то временно забудьте об этом благодатном способе передвижения.

Бесконечные партии иностранных туристов моментально расхватывают еще у вокзалов такси и по целым дням мечутся по строящейся Москве, наводя очки, лорнеты и «лейки» на все попадающееся на пути.

Что тянет их к нам?

Экзотика?

Возможно, с их точки зрения, экзотики у нас хоть отбавляй. Церкви, перестраиваемые в клубы, лозунги над портиком Большого театра, очереди у магазинов, грохот стройки, идущей сверхъестественным темпом, пестрые халаты узбеков, китайские студенты, отряды пионеров, флаг над зданием ЦИК СССР за зубчатыми стенами Кремля, за теми самыми стенами, на которых некогда стоял, скрестив руки на груди, маленький французский император, попавший в этой «экзотической» стране в очень неприятную историю.

Нет, не только экзотика тянет к нам иностранцев, не только любопытство.

Тут больше, чем любопытство. Старый, уходящий мир смотрит в глаза новому, идущему ему на смену миру. Падающий класс смотрит в глаза восходящему классу.

Смотрит и не может отвести глаз, как эта старая, некрасивая, хорошо одетая американка, проезжающая сейчас в такси мимо хвоста у кооператива, не может отвести лорнета от лесов строящегося гигантского дома на углу Лубянки и Кузнецкого.

Эти странные, непонятные русские! Они испытывают на своем пути всяческие затруднения – продовольственные, жилищные, денежные – и все-таки строят. Мало того. Строят не как-нибудь, а широко и планоно, строят с энтузиазмом, самозабвением, верой в победу своей идеи... строят гигантские заводы, комбинаты, электростанции... Эти непонятные русские большевики, из которых едва ли каждый сотый более или менее прилично одет.

Старому миру страшен наш энтузиазм, и его тянет к нам, неодолимо тянет.

В тех частях Москвы, где улицы забетонированы, где вечером в дождь в мокром бетоне зеркальными кляксами отражаются огни, где в яркий день сухо блестят накатанные, как бы воощенные, следы автомобильных шин, где совестно (как в Берлине) бросить на опрятный тротуар окурки, – там с необычайной наглядностью выступает вся анархическая несостоятельность старого капиталистического строя, основанного на «священном праве частной собственности».

Достаточно перевести взгляд от старого организованного, однообразного, удобного, усовершенствованного порядка новой мостовой-шоссе на старые дома, беспорядочно торчащие вдоль улицы, чтобы ужаснуться.

Как строили город наши предшественники, рыцари «священного права собственности»?

Бездарнейшее смешение стилей, масштабов, объемов, качеств, материалов. Полнейшая анархия!

Рядом с семиэтажным, плоским, угрюмым «доходным домом», похожим на терку, – крошечный деревянный одноэтажный особнячок, постыдная хибарка какой-нибудь штаб-офицерской вдовы, выжившей из ума старухи, сидевшей на своем участке и на основании «священного права собственности» ни в коем случае не желавшей строиться, хотя бы вокруг возникали сорокаэтажные небоскребы. А ей наплевать!

«Не хочу – и баста! Мой участок. Собственный! Собственный!»

Тут же каким-нибудь дураком купцом наворочен замок с идиотскими башнями и каменным львом с задранным хвостом на готической крыше.

А сколько этих ужаснейших «стиль рюсс» с какими-то уму непостижимыми коньками, петушками, теремками, нарочито крошечными окнами, пузатыми колонками, безобразными украшениями в духе бездарного Строгановского училища, типа «пасхальных яиц», выжигания по дереву или ларцов!

Сколько «стиль модерн» – с криволинейными дверями и громадными круглыми окнами, с переплетами под мистические стебли водяных лилий, или, как в таких случаях говорят, «ненюфар»!

Сколько нелепых лепных украшений, от которых на стенах дома вырастают целые холмы грязи и мусора!

А разве можно было запретить?

– Нельзя-с!

Священное право собственности!

«Чего моя левая нога хочет, то и наворочу. Захочу – гипсового слона на воротах наворочу... Бегемота бронзового поставлю! Гиппопотама!»

Говорят – в Москве тесно. Я думаю – было б не тесно!

Да. Если бы всю эту хищнически, анархически застроенную площадь Москвы как следует «рационализнуть», места бы всем хватило.

Вероятно, снос одних лишь одно- или двухэтажных домов очистил бы площадь, достаточную для возведения Удобных, хорошо оборудованных построек на два-три миллиона населения. Еще бы на несколько прекрасных парков места осталось.

Пройдитесь-ка по Москве да посмотрите внимательно вокруг. Станет совершенно ясно: наша теснота – следствие «священного» (будь оно трижды проклято!) «права собственности» хозяев старого мира.

Поедем за город.

Я предпочитаю Ленинградское шоссе. Иногда, в яркие летние дни, мне кажется, что оно ведет в будущее.

Один из моих друзей как-то сказал, что социализм – это страна пешеходов. Он любит парадоксы, этот мой друг. Но в данном случае я почти с ним согласен.

Да. Социализм – это страна пешеходов, приехавших после трехчасовой работы на хороших автомобилях погулять пешком под соснами загородного сада отдыха.

Не будем останавливаться возле бегов. Проедем мимо ворот, на которых два бронзовых конюха держат под уздцы двух бронзовых рысаков. В том виде, в каком они существуют сейчас, бега – это прошлое.

Поедем лучше дальше.

Вдоль липовой аллеи мчится стадо велосипедистов. Их сто или двести. Никелевые молнии слетают со спиц. Звезды горят на рулях и звонках. Это велоэкскурсия. Парни. Девушки. Некоторые едут обнявшись. Под деревом сидит неудачник. У него прокол. Он возится с насосом, отвинчивает вентиль. Тени велосипедной колонны летят по его огорченному лицу.

Тараторят мотоциклы. Сзади, обняв моториста за шею, боком сидит девушка. Ветер вырывает из-под пестрого (желтые, красные и серые ромбики) платка дымчатые волосы. В синих глазах восторг любви и быстроты.

Пронеслись.

Над соснами облака. Трава зеленая, как в детстве.

Стадион «Динамо».

Мы даже не заметили, когда его выстроили. Делалось это как-то без шума, весьма серьезно. А теперь, подъезжая к нему, диву даешься.

Среди сосен Петровского парка вырос бетонный Колизей. Это поистине уголок Европы. Такой стадион может сделать честь любому европейскому городу.

Серый. Плотный. Монументальный.

Вокруг стадиона разбит прелестный парк. Отличные газоны. Садовник стрижет машинкой траву. Зеленые сухие брызги стреляют из-под ножей машинки. Пахнет срезанной зеленью. Растут цветы. Старые деревья, попавшие в зону парка, заботливо окружены скамьями. Продадут мороженое. Дорожки желты и плотны.

Над сетками теннисных кортов летают фланелевые мячи.

Скульптурные группы молодежи проносятся с поднятыми вверх руками по баскетбольной площадке.

Это – вокруг стадиона. А внутри яркое футбольное поле, где звонко стреляет мяч, летя высоко в небо, наполовину освещенное солнцем.

Вокруг футбольного поля, разграфленного мелом, прекрасный велотрек с плоскими лентами прямых и крутых, как края миски, виражей.

По прямой, обдавая ветром, сыплет велогонщик. Он тренируется. Руки твердо уперлись в низкий, рогатый, вывернутый вперед руль. Голова опущена. Голые ноги привязаны к педалям. Это не человек. Это мотор. Бесшумная железноногая машина. Ноги мелькают, как рычаги, шинкуя серые километры.

Вот слева видны только руки, голова в переднее колесо – ж-ж-жик! Мгновение. И уже по прямой направо удаляется к виражу полосатая спина и седло. Вот он боком к земле, почти параллельно футбольной зелени, въехал на крутой вираж и мчится, покорный железному закону центробежной силы.

Не ослабляя темпа, один круг, два круга, три круга, четыре круга...

Сколько он может сделать кругов, этот лобастый чемпион, упрямый рабочий или красноармеец, тренирующий и освежающий свои мускулы для будущих боев?

Военные самолеты один за другим возвращаются домой, идя на посадку, пролетают с полуостановленным мотором над стадионом. Тут они делают поворот. Корпус самолета вздрагивает. Звезда на правом крыле поднимается, на левом – опускается. Колеса проносятся со свистом, едва не задевая за кроны сосен...

Там Московский аэропорт.

За еловой изгородью полотняные крашенные шатры ангаров. Там белеют алюминиевые крыши присевших над полевыми цветами «юнкерсов», «дорнье-комет», «Калининых», «Туполевых»... Там выстроились зеленые военные самолеты, каждую минуту готовые сорваться журавлиной стайей с земли для защиты советских границ.

Вдоль Москвы-реки льются в шелковом воздухе резвые выпела яхт-клубов и водных станций.

Тут царство солнца, воздуха, воды.

Среди них водная станция «Динамо» по праву занимает первое место.

Если стадион «Динамо» не уступает лучшим европейским, то водная станция «Динамо» превосходит лучшие европейские.

Водная станция «Динамо» – магнит для московской молодежи. В солнечные дни после работы сотни юношей и девушек устремляются сюда со всех концов города на трамваях, автобусах и пешком.

Товарищ будущий романист!

Если у вашего героя будет в солнечный день два-три часа свободного времени – обязательно пошлите его на водную станцию «Динамо». На водной станции «Динамо» вам будет очень легко столкнуть его с любыми нужными вам персонажами. К вашим услугам богатый выбор советских граждан – от наркома до красноармейца из дивизии особого назначения.

Ваш герой покупает за двадцать копеек розовый билет и входит в калитку. Флаги, розы встречают его нежной своей расцветкой.

Белые флаги с синим прописные «Д» и пунцовые – будто их кто обидел – розы на клумбах, разбитых среди желтого песка дорожек.

За арифметической сеткой теннисных площадок бегают бронзовые голыши в трусах. Мячи звонко бьют в сетку. Рядом режутся в городки. На соломенных стульях загорают купальщики. Берег реки весь обшит деревом серо-голубого, стального цвета. Все тут напоминает борт океанского парохода. Перила. Доски пола – палуба. Спасательные круги. Ведра. Спардек. Флагшток с вымпелом, синее прописное «Д» на белом поле. Буфет. Раздевальня. Махровые халатики купальщиц. Головы пловцов в сулевидных синих шапочках-шлемах и с медным номерком от гардероба на пояске.

Вниз, к воде, ведет широчайшая – метров в триста шириной – лестница с нумерованными местами для зрителей во время спортивных состязаний. Вода забрана плотами, образующими три ящика для плавания: два больших – для игры в водяной футбол и для состязаний, и третий, поменьше, – для начинающих. Есть еще четвертый, совсем маленький, – для детей и для неумеющих.

На плотках вышки с трамплинами для прыгания и линолеумовыми желобами, по которым съезжают храбрецы на животах в воду.

В ящиках плещутся пловцы, ставя рекорды и обдавая друг друга брызгами.

Слева, под висящим над рекой рестораном, лодочная стоянка. Отсюда отплывают любители гребного спорта.

Вся серовато-голубая поверхность реки покрыта гребными судами.

Утлые байдарки. Длинные и узкие, как линейки, гоночные четверки, с заведенным и поднятым перед ударом опереньем весел. Простецкие лодочки для катания с девушками на руле. Странного вида и яркой раскраски индейские пироги. Слабо стрекочущие моторки.

И вот надо всем этим, на фоне белого облака, появляется прыгун.

Не забудьте, товарищ романист, что это наш герой.

Он поднялся по серо-голубой лесенке на высокий помост и встал на самом краю повисшего над водой трамплина. Упругая доска легко гнется под тяжестью хорошо сложенного, молодого кремового тела.

Он широко разводит руки, словно хочет обнять все, что лежит перед ним в этом чудесном мире: реку, пловцов, лодки, цветные, как пасека, павильоны Парка культуры и отдыха, Крымский мост, Воробьевы горы, пароходик с баржей, проволочную вершу Шаболовской радиостанции, облака, цветы, трамвай, строящийся дом.

Он глубоко вздыхает. Он поднимает руки и, вытянув их, соединяет ладони над головой. Теперь он не человек – стрела.

Он чуть покачнулся. Он медленно выходит из состояния равновесия. Не торопясь, разводя руки, он падает. Он летит! Теперь он не стрела – ласточка.

Я вижу напряженные его лопатки и упруго вогнутую черту вдоль спины, от головы до поясницы. Он в воздухе. Руки медленно соединяются над головой. Ноги – сжатые струны. Он весь натянутый лук. И опять человек-стрела.

Мгновение – и он ключом уходит в литую, изумленную воду.

1930 г.

Простое сложение

Два плюс два – четыре. Ни больше, ни меньше. На первый взгляд, как ни верти, из этого простого арифметического действия ничего другого не выжмешь.

Один из недавно ушедших от нас людей пояснил эту истину развернутой метафорой, столь же ядовитой, сколь и обывательской.

Возьмите любое количество лодок и сложите их. Лодка плюс лодка, плюс лодка, плюс лодка... сколько лодок ни складываешь, все равно парохода не получишь.

Оно конечно. Будто бы и так.

Но дело в том, что автор лодочного афоризма совершенно забыл о такой прекрасной вещи, как диалектика. Он показал себя сухим педантом и безнадежным схоластом. По его мнению, очевидно, если к одному пальцу прибавить другой палец, да еще палец, да еще палец – получится пять пальцев. Простая растопыренная пятерка. И ничего больше.

Для диалектика же вопрос обстоит несколько иначе.

Для него важен не самый факт сложения пальцев. Весь гвоздь для него в том, как их сложить. Например, при хорошей большевистской организации из пяти пальцев складывается весьма крепкий кулак, вдребезги разбивающий любое количество заботливо сложенных меньшевистских лодочек, приготовленных для спешного переезда с левого берега на правый.

На днях мне удалось увидеть собственными глазами, как простое сложение крестьянских хозяйств плюс крепкое пролетарское руководство – и ничего больше – создало сельскохозяйственную артель, которой вправе гордиться не только Нижне-Волжский край, но и весь Советский Союз.

Я говорю о сельскохозяйственной артели имени Демьяна Бедного.

Сперва несколько фактов и цифр.

Сельскохозяйственная артель имени Демьяна Бедного находится не遠далеке от ст. Филоново в Ново-Анненском районе. Из 14 хуторов она объединяет около 800 бедняцких хозяйств, общей сложностью примерно в 14 000 гектаров земли, из которых в этом году засеяно и убрано тысяч двенадцать.

Население – донские казаки, станичники и хуторяне.

Тракторов всего три. Из них один неисправен. Сложных машин – молотилок-барабанов – пять. Есть еще амовский грузовичок, полученный из района в кредит. Работают главным образом на волах.

Короче говоря, механизации производства никакой. Обработывают землю без особой помощи государства. Обходятся простым объединением земли, тягловой силы, личного труда и тех машин, какие были в единоличном пользовании. Плюс, конечно, правильное пролетарское руководство и блестящая организация.

И в этом весь гвоздь.

Именно в этом и заключается причина того, что меньше чем за год своего существования артель стала образцовой и показала такие превзошедшие все ожидания темпы, результаты, что центральный орган партии газета «Правда» посвятила ее достижениям целую обстоятельную страницу (см. «Правду» № 245 от 5 сентября этого года), а Демьян Бедный написал стихотворение, в котором следующим образом формулирует значение победы, одержанной артелью его имени на одном из самых важных участков реконструктивного фронта:

Добивайте скорее кулацкую спесь!

Вот, смотрите, мы за год чего наворотили!

Путь к спасенью крестьянскому здесь, только здесь,

В колхозной артели!

Если к этому применить общеизвестную мысль Ленина о необходимости искать на каждом данном этапе исторического развития центральное, так сказать, узловое звено и, ухватившись за него, вытаскивать всю цепь, то именно таким звеном на данном этапе является правильная организация бедняцких и середняцких масс в сельскохозяйственные артели.

Образцом такого рода звена оказалась артель имени Демьяна Бедного. Потому-то мы – Демьян Бедный и я – решили съездить и познакомиться на месте во всех подробностях с бытом и историей организации этой артели.

Хорошая погода бежит за нами по пятам, как легавая собака.

Уборка в самом разгаре.

Артельная земля лежит под дымчатым солнцем, как обширная русая голова, круглая и коротко остриженная под машинку. Она вся устлана в шашечном порядке копнами пшеницы.

По дорогам, качаясь, скрипят нагруженные сверх всякой меры арбы. Длинные слюни, как вожди, свисают с широкогубых воловьих морд.

Вереницы пустых арб, сбросивших свой груз возле молотилок, резко тархтят по дороге в поле.

Иногда попадаются подводы, заваленные тугими мешками. Это беднодемьяновцы спешат сдать государству свои товарные излишки.

В некоторых местах жнивье перемежается с черными, бархатными, жирными квадратами свежеспаханных участков. Тут идет осенний сев. Многорядные сеялки на высоких колесах, как пауки-мухоловы, ползут, влекомые теми же волами, оставляя за собой аккуратно рассчитанные волосы чернозема.

Одновременно колхозники делают множество самой разнообразной работы:

Пашут.

Сеют.

Возят.

Молотят.

Сдают.

При старом, единоличном ведении хозяйства это было бы совершенно невозможно. Недаром время полевых работ в старое время крестьяне называли страдой. Приходилось буквально разрываться. Какие-нибудь два-три человека весь день, не зная ни отдыха, ни срока, топтались по своему микроскопическому наделу (кстати сказать, бывали такие случаи, что земля отстояла от хозяйства за пятнадцать-семнадцать километров) и не знали, за что взяться.

Возьмешься за молотьбу – хлеб начинает гнить.

Возьмешься возить – молотьбу прозеваешь.

Справишься с молотьбой – раннюю зяблевую вспашку проворонил.

И так до бесконечности. Не хватало ни рабочих рук, ни рабочего времени, ни, разумеется, организации.

Каждый крестьянин должен был быть одновременно и пахарем, и сеятелем, и возчиком, и накладчиком, и молотильщиком, и кузнецом, и шорником...

И, разумеется, по нужде хватаясь за все эти дела сразу, ни с одним как следует не справлялся, хотя и надрывался в непосильной, абсолютно непродуктивной работе.

В старое время крестьянину не хватало в деле ведения своего хозяйства рационализации.

Объединение в артель сразу же развязало крестьянам руки и дало возможность свое обобществленное хозяйство строго рационализировать.

1931 г.

Ритмы строящегося социализма

(Из записной книжки)

...Ночь была необычайно черна. Мир вокруг меня казался сделанным из одного куска угля. Огни Сталинградского тракторного возникли сразу. Насквозь высверленные в непроницаемой среде земли и воздуха, они блистали точками ювелирной иллюминации.

Корпуса рабочего поселка энергично графили ночь арифметической сеткой белых окон.

Деревянная триумфальная арка, под которой нынешним летом прошел первый трактор, выпущенный заводом, казалась нарисованной мелом.

Фосфорический чертеж заводоуправления, сияющий витринами аквариума, проплыл мимо великолепным своим фасадом.

Ворота отворились.

И тут начались цехи. Длинные, низкие и легкие, они поражали зрение необычайной гармонией пропорций. Два враждебных друг другу материала – стекло и железо, примиренные формулой целесообразности, создали в своем сочетании мужественную и вместе с тем изящную конструкцию, образец современной заводской архитектуры.

Инструментальный, ремонтно-механический, механическо-сборочный, кузнечный, литейный, термический – все эти цехи, полные электрического света, стояли, умно и расчетливо распланированные, друг подле друга, соединенные бетонными дорожками и разделенные клумбами.

Придет время, когда плющ и дикий виноград обовьют цехи, тогда зеленое солнце будет наполнять их гигантскую кубатуру веселым лесным светом. Работать будет приятно, как в роще.

– Берегись!

Мы едва успели отскочить к стене. Мимо нас мягко проехала автоматическая тележка. Штук десять листовой стали, подцепленные к ней сзади, прогромыхали по бетону. На площадке тележки стояла девушка в красном платке. Улыбаясь сплошными, молодыми зубами, она правила своим автокаром, едва прикасаясь пальцами к рычагам управления. На ней были аккуратное шерстяное платье, туфли и белые носки с голубенькой каемкой.

Я улыбнулся. Это было так не похоже на то, что я видел часа два тому назад, сидя на лавочке на приволжском бульваре.

Я не слишком люблю так называемую «красоту русской природы». Волга не вызывает во мне никаких особых восторгов. Большая, плоская и в достаточной мере скучная река. Уже на пристани и на плотках зажигали огни. Четко тараторила моторка. Внизу были видны крыши и ворота пароходства. Вдруг раздалось хоровое пение. Скорее даже не пение, а нечто смутно напоминающее пение. Какой-то уныло-залихватский речитатив, удивительно однообразный и бедный мелодией. Такой мотив мог создать, например, малоталантливый киргиз на третий или четвертый день вынужденного путешествия верхом по абсолютно голой степи. Высокие тенора пели в унисон:

Эх, та-та!

Ох, ти-ти!

Ух, та-та!

Их, ти-ти!

Я посмотрел вниз. Однако внизу было пусто. Только на пристани виднелись фигуры пассажиров.

Я так и решил, что это развлекались в ожидании теплохода советские служащие, проводящие свой очередной отпуск в путешествии вниз по матушке по Волге. Однако песня становилась все громче и громче. Через двадцать минут в открытых воротах товарной пристани появилась одна ситцевая спина, за ней другая, потом третья – спин двадцать пять или тридцать. Это были грузчики. Они тащили на цепи средней величины кусок листового железа. Таща его, они подбадривали себя ритмическими восклицаниями: «Эх, та-та, ох, ти-ти, ух, та-та, их, ти-ти...» Прямо картина Репина «Бурлаки», да и только! Вытащив на мостовую свой груз, «бурлаки» сбросили с плеч лямку, постояли минут двадцать, поплевали в ладони и принялись вновь тащить свой кусок железа, издавая уныло-ритмичные вопли.

Таким образом, на протяжении каких-нибудь трех часов я стал зрителем двух картин человеческого труда. Я прикоснулся к цепи, один конец которой уходит далеко вниз, в темное и страшное прошлое, а другой ведет в будущее, в то будущее, где цехи будут строиться в рощах и веселая комсомолка одним движением руки будет передвигать с места на место дома.

Я понял, как трудно будет нам преодолеть старые, рабские ритмы работы и как радостно и плодотворно будет это преодоление.

Мы бегло осмотрели цехи.

В литейном видели автоматическую формовку. Чистеньким формовочным станком управляла чистенькая, худенькая девушка. Ее движения были точны, целесообразны, ритмичны. Даже голубой формовочный песок в идеально чистом ящике никак не напоминал грязного, вонючего песка кустарной формовки. Машина облагородила труд, дала ему ясность, чистоту, быстроту, освободила человека от изнурительного напряжения, заставила человека подтянуться, выпрямиться, научила управлять, а не быть управляемым работой.

То же и в прочих цехах. Сталинградский тракторный полностью механизирован. Производство идет потоком.

В механическо-сборочном цехе стоит около тысячи новеньких станков, все – последнее слово техники. Сборка трактора происходит на движущейся ленте конвейера. Конвейер движется непрерывно. Его непрерывное движение организует стоящего у конвейера человека. Перебоев в производстве не может быть. Промедление одного влечет за собой промедление остальных. Конвейер наглядно показал непреложность того, что один за всех и все за одного. Быстрота и ритм конвейера сборочно-механического цеха определяют ритм и быстроту конвейера в литейном. Быстрота и ритм литейного требуют соответствующей быстроты и ритма подвозки и добычи угля. Ритм Сталинградского тракторного выходит за пределы одного города и начинает влиять на темпы всей связанной с ним промышленности.

Еще десять – пятнадцать таких заводов, еще десять – пятнадцать таких неуклонно движущихся кругов – и весь наш Союз начнет жить в новом, неудержимом, прогрессивно возрастающем темпе.

1931 г.

Политотдельский дневник

17 июня выехали. 18-го приехали. Я был болен. Нас встретил Костин. Он отвез нас на машине, сделавшей на своем веку сто шестьдесят тысяч километров, – то есть четыре раза вокруг света по экватору! – в Зацепы, на МТС.

Был вечер.

Мы пошли в дом и поднялись по деревянной лестнице во второй этаж. Костин занимает две комнаты, не хуже приличных московских, из которых одну предложил нам – столовую. Есть электричество. МТС дает свет даже железнодорожной станции.

Где-то все время постукивает двигатель.

В столовой, где нам постелили, – стол, над ним лампочка под маленьким цветным матерчатым абажуром, два окна, на них шторы; платяной шкаф, письменный столик, превращенный в туалетный, – с зеркальцем, флаконом, мылом, зубными щетками и книгами; несколько стульев; в уголке табуретка, превращенная в детский столик, – с тетрадками, книжками и т. д. У Костина гостит восьмилетняя дочь Леночка. Она спала здесь на диванчике. Теперь ее перевели к Зое Васильевне, жене начальника политотдела. Зоя Васильевна, молодая, милая, услужливая женщина, возится с Леночкой, заменяет ей маму.

Нас кормили, поили чаем, укладывали спать.

Сильный ветер, погода сомнительная, довольно холодно. Хорошо, что взял пальто. Температура около тридцати девяти, знобит. Звезды. Как старых знакомых узнаю Большую Медведицу, Кассиопею и множество других, коих не знаю имен, но хорошо помню форму. Очень белый и яркий Млечный Путь.

Всюду на столбах лампочки.

Свет в нескольких корпусах, но что там – неизвестно. И не хочется спрашивать, – скорей спать!

Близость станции. Сигналы. Семафоры. Звонки. В комнате несколько больших букетов полевых цветов.

Ложимся. Вокруг белые, чистые, чужие стены и чужие запахи нового места. Белая печь. За печью на вешалке пальто и две соломенные деревенские шляпы, которые называют «брили».

Елисеев тушит свет.

Я лежу. Меня мучат жар и бессонница. Вдруг слышу – во тьме Елисеев ест редиску. Ест, вкусно хрустя. Съел одну, начал другую. Потом еще. И еще. Что такое? Я не знал за ним такого аппетита.

– Елисеев!

– А?

– Что это вы грызете? Редиску, что ли?

– Нет. Наоборот, я думал, это вы.

– Нет, не я.

– Тогда, наверное, это мышь нашла что-нибудь на столе.

Он зажигает свет. Шарит по столу.

Он обходит всю комнату, ищет мышиную нору, ищет долго. Наконец находит возле печки спичечную коробочку и в ней большого жука. Все ясно. Это Леночка спрятала.

– Выбросить?

– Жалко Леночку.

Однако жук мешает спать.

Елисеев осторожно выходит в коридор и там осторожно кладет коробочку на стол. Все стихает. Темнота. Меня продолжает мучить жар. Потом я начинаю потеть. Потеею так, что обе простыни хоть выжми. Никогда в жизни так не потел. А вокруг тридцать пять тысяч га

колхозных полей, подготовка к уборочной, комбайны, тракторы, бригады, колхозы, полеводы, инструкции, противоречия; все это еще мне не совсем понятно, еще не разобрался, что к чему.

Так до утра.

Двадцать второго Костину нужно было съездить в колхоз «Красный партизан» – отвезти лозунги и материалы к предстоящей политбеседе. Пригласил нас. Часов в двенадцать мы отправились на бричке – Костин, Елисеев, Зоя Васильевна и я. Это километров десять – двенадцать.

По дороге смотрели хлеба. Очень хороши. Земля вокруг тщательно возделана.

Из «Красного партизана» поехали в поле, к бригаде стариков косарей. Их Зоя Васильевна как-то обещала сию и теперь решила исполнить обещание.

По дороге осматривали хлеба. Особенно меня порастил кусок возле церкви со снятыми крестами – громаднейшая, густейшая, ровнейшая и чистейшая пшеница. Чтобы войти в нее, надо сильно напрягать руки, разбирая ее свежую крепкую чашу. Куда хватает глаз – отличнейшие хлеба. Неожиданно для традиционного русского пейзажа – абсолютное отсутствие межей. Сплошные зелены.

Дороги прокладывают с помощью трактора.

Мы нашли косарей на склоне балки. Три старика в шляпах и широких рубахах широко и легко косили луг. Густое белое молоко сока сворачивалось большими каплями на срезанных стеблях молочая.

Зоя Васильевна засуетилась, живописно расставила стариков, утвердила свой треножник и велела им косить. Они, очень довольные, пошли цепью вниз, размахивая косами. Трава ложилась легкими рядами.

Тут Зоя Васильевна спохватилась – она забыла в тарантасе кассету. Она с криком побежала за ней.

А старики продолжали мерно и неуклонно идти.

Когда Зоя Васильевна прибежала с кассетой к аппарату, старики уже прошли мимо. Она оббежала их и стала снова наводить, но, покуда наводила, старики опять прошли мимо, лихо кидая косами. Они ничего не видели и не слышали. Она была в отчаянии. А они, три старика с громадными бородами, сбитыми ветром в одну сторону, шагали вниз по косогору, неуклонно, равнодушно, торжественно. За ними страшно чернела надвигающаяся туча, бежала рожь, сверкала молния, катился гром.

– Подождите! – кричала она, чуть не плача, эта милая неудачница-энтузиастка в своем сером прозхалатике, с большими растрепанными волосами, и бежала за ними, спотыкаясь, прижимая к груди обеими голыми руками треножник, аппарат, черный платок и кассеты, падающие в скошенную траву.

Старики не слышали. Они размеренно и неудержимо шагали вниз, упоенные славой и предвкушая увидеть свои фотографии в газете.

Между тем гроза приближалась. В черной туче висели светло-белые полосы. Оттуда дышало льдом. С тревогой говорили, что будет град.

Старые косари работали быстрее, чем молодой фотограф.

Гроза не состоялась, Елисеев поймал в покосе ящерицу и спрятал себе в кепи. Ящерица всю дорогу бегала вокруг по голове.

В «Красном партизане» нам дали графин молока и кусок желтого кукурузного хлеба, более красивого, чем вкусного. Мы поели, заплатили за это колхозу три рубля и получили квитанцию.

Я всю дорогу сидел на козлах и радовался, как ребенок. Вспоминал детство – какое счастье сидеть на козлах и погонять!

Приехали около семи и весело пообедали.

Все еще болен. Утром встал рано. За двумя большими, очень широкими окнами туман. Плохой день. Здесь все время погода дождливая. Это удручает.

С жуком в коробке смешное положение.

Костин за чаем рассказывает:

– Ночью просыпаюсь от шума. Как будто бы в коридоре под моей дверью кто-то грызет кость... как вурдалак. Ну, невозможно заснуть. Я выхожу. Обшарил весь коридор. Вижу коробочку. Открываю – жук, будь трижды проклят. Взял эту коробочку, разозлился – и ко всем чертям в окошко!

Мы ахнули:

– Это же Леночкин жук!

Костин смеется:

– Ничего. Переживет.

К чаю является Леночка на своих длиннющих ногах. Она озабоченно идет к печке, пожимает худенькими плечами, ходит по комнате, заглядывает в углы.

Все смеются.

Одним словом, ходили во двор, искали под окном в бурьяне, пока не нашли знаменитую коробочку с жуком. Жук сейчас водворен в банку и закрыт крышечкой.

Немного гулял возле дома. Ветер, пасмурно, холодно. Скучно. Внизу бухгалтерия и контора агронома. Щелкают счеты, сидят «клерки», согнувшись над бумагами.

Рядом с нами, во втором этаже, специальная комната для заседаний.

Политотдел при Зацепской МТС существует всего каких-нибудь четыре-пять месяцев. Срок, в общем, небольшой – от подготовки к весеннему севу до начала уборочной. Но как много сделано за этот небольшой срок!

Сейчас политотдел при Зацепской МТС является подлинным, крепким, авторитетным партийным центром двадцати двух колхозов и коммун, входящих в сферу деятельности МТС.

Политотдельцы оказались народом выдержанным, настойчивым, целеустремленным.

Они работают под лозунгом: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять!»

И они не на словах, а на деле берут эти крепости одну за другой.

Колхозница пришла в политотдел, чтобы ее научили устроить в своем колхозе ясли. Конную молотилку заменяют паровой, а паровую – комбайном.

Революцией насыщены наши дни.

Громаднейшие, неисчерпаемые запасы человеческой инициативы и энергии освобождаются всюду.

Нужно этой инициативе и энергии дать политически верное направление, нужно их наиболее рационально переработать.

И политотдел направляет, перерабатывает.

Ежедневно через зеленый двор проходят сотни самых разнообразных людей – от семнадцатилетних черноглазых хлопцев и до семидесятилетних дремучих дедов.

И каждый выходит не таким, каким он вошел. Выходит обогащенным, заряженным волей к труду и победе.

Глубоко неверно представлять себе машинно-тракторную станцию только как некое хозяйственное предприятие, предназначенное для того, чтобы за известное вознаграждение посылать свои машины на колхозные поля.

МТС представляет собой сложный политический и культурно-хозяйственный комбинат.

За последние восемь дней помимо своей очередной работы политотдел МТС проделал следующее.

Проведен слет колхозниц-ударниц. На этом слете подробнейшим образом прорабатывались практические вопросы прополки, предстоящей уборки и поставки хлеба государству.

Был слет косарей ближайших колхозов. Восемьдесят человек, главным образом старики, демонстрировали свою подготовку к покосу. На лугу собрались на митинг. Тут же провели конкурс на лучшего косаря. Артели выставили косцов. Косили на первенство артелей. Учитывали не только лучшую косьбу, но и лучшую подготовку инструмента – мантачки, бабки, молотка, ведра и др. Старики передавали молодым косарям свой производственный опыт.

В течение пяти дней происходил семинар секретарей комсомольских ячеек. Проводил занятия весь политотдел. Проработали партийные решения, вопросы уборочной кампании и поставки хлеба государству.

Сто пятьдесят человек переменников собрались, с тем чтобы организовать охрану урожая. Был подробнейшим образом разработан план охраны дорог, посевов, домов. Установили места, где будут построены сторожевые вышки. Сто пятьдесят человек переменников поклялись быть надежной охраной колхозного урожая от кулаков, воров и вредителей.

Пятьдесят селькоров разрабатывали план обслуживания бригад полевыми газетами. Делились опытом. Тут же, на месте, был написан, составлен и склеен пробный, опытный номер газеты «Пером селькора».

В течение полутора месяцев изо дня в день идут регулярные занятия комбайнеров и штурвальных. Их семьдесят человек – пятьдесят три комбайнера и семнадцать штурвальных. Их прислали сюда колхозы, самых талантливых, самых крепких.

Девятнадцать человек прошли курсы машинистов молотилок. Были пятидневные курсы весовщиков, учетчиков, полеводов, силосовальщиков, кладовщиков.

Целый день через зеленый двор проходят все новые и новые десятки и сотни людей. Все помещения МТС с утра до вечера заняты слетами, заседаниями, конференциями, семинарами, комиссиями.

В широкое окно виден зеленый луг двора. Розовые стены строящейся конторы. Свежие штабеля леса. Известка. Камень. Со свистом дышит пила. В ремонтной мастерской крутятся шкивы, летают трансмиссии. Бабы кончают обмазывать коровник. В столовую тянутся гуськом парни и девчата. Это какая-то очередная конференция. Столовая – главный конференц-зал.

Сегодня закончен ремонт.

Стоят машины, готовые к работе.

Зерно возшло далеко не обычной густоты и чистоты. Сквозь хлеба трудно продираться.

А во втором этаже, в небольшой комнате – кабинете начальника политотдела, заседание политотдела с участием агрономов и полеводов. Разрабатывается план уборочной и поставки хлеба государству.

Район принял на себя обязательство доставить хлеб на пункт за двадцать дней. Все дело теперь в том, когда можно будет начинать косовицу. В этом весь гвоздь.

Товарищ Розанов напряженно ждет, что скажет по этому поводу агроном.

– Что ж, Тарас Михайлович, – говорит агроном, дымя длинной трубкой, – что касается начала косовицы, то я думаю – между десятым и пятнадцатым.

Товарищ Розанов вертит шеей. Ему мешает ворот ладно выглаженной длинной полотняной рубахи. Он весь розовеет. Сквозь коротко стриженные светлые волосы видно, как розовеет кожа его темени. Он нервно посмеивается, решительно встает и упирается кулаками в стол.

– Вот что, дорогой Евдоким Яковлевич... Это дело неподходящее. Десятое, пятнадцатое... ни то, ни другое.

Он делает короткую паузу – и вдруг как ножом:

– Пятое! Понятно? Пятое... Вот... пятое-е!

Агроном опускает глаза, и очень легкая улыбка скользит по его тонким, плотно сжатым губам. Он пожимает плечами:

– Ну, пусть пятое. Только я не рассчитываю на хлеб. К пятому хлеб безусловно не будет готов. Числа десятого, двенадцатого.

– Ага! Уже не пятнадцатого, а двенадцатого? А я вам говорю, что не двенадцатого, не десятого и даже не восьмого, а пятого. Понятно? Пятого!... Понятно вам? Пятого! – Он наклоняет к столу круглую, розовую, упрямую голову и повторяет: – Пятого... Первый день косьбы – пятого!

– Тарас Михайлович... а если хлеб не поспеет? – жалобно говорит агроном.

– Поспеет! – кричит Розанов. – Должен поспеть!

Все смеются. Но Розанов еще ниже опускает голову, как будто собирается бодаться.

– Нужно вырвать у природы лишние дни, – быстро говорит он. – Не может быть такого случая, чтобы ни на одном участке из тридцати пяти тысяч га не поспел хлеб пятого. Обязательно где-нибудь поспеет. Ведь так?

– Это так. Где-нибудь да поспеет...

– Так вот я это самое и говорю! Значит, что нужно, чтобы не пропустить? Нужно немедленно выделить людей и организовать дозоры. Понятно? Пускай день и ночь ходят дозоры. Как только где заметят, что можно начинать косить, так и начнем, ни одной минуты не пропуская.

Заседание закрывается.

Розанов с непокрытой головой ходит по двору. Ему жарко. Он устал. Где-то вокруг зреют, наливаются хлеба. Он видит эшелон с хлебом, который идет в крупный рабочий центр. Длинный и быстрый эшелон с их хлебом.

Розанов смотрит на небо. Небо в тучах. Дует ветер. Бежит трава. Розанову страшно хочется солнца.

Он идет, опутив крепкую круглую голову. Он бормочет сквозь зубы:

– Нужно вырвать у природы лишние дни. В этом вся штука.

Разошлись по квартирам. Чувствую себя немного лучше.

Обедали.

На столе в стеклянном кувшине громадный букет белой акации. Какой милый, забытый, но с детства памятный одесский запах...

Гулял по двору, размышлял. Сейчас здесь все живет ощущением надвигающегося боя. Надвигающийся бой – это уборка, сдача и т. д.

Виды на урожай блестящие. Общее мнение. Но срок начала уборки зависит от погоды. Будет солнце – уборка начнется пятого. Нет – тогда не раньше пятнадцатого. Десять дней – это чудовищный срок в данных условиях. Все дело решает колос. Мы окружены полями. Там происходит созревание.

Пятнадцать – двадцать дней ожидания. Но эти пятнадцать дней зато с напряжением употребляются на подготовку к самому действию.

На днях ездил в пятую бригаду колхоза «Первое мая», на поле. В семь часов утра.

Они должны были полоть.

Силосная башня. Потом дорога. Ястреб на проводах. Шиповник. Дикая маслина. Кустарник.

Собирался дождь. Было холодно и пасмурно. Возле омета старой соломы – три телеги. Казан, дрова, вода, крупа. Баба-кухарка. Широкоплечий бригадир. Он точил напильником сапы. И еще один мужчина, круглолицый, со шербатыми зубами, добродушный. И еще хлопец лет семнадцати в помощь кухарке – он колол дрова.

Остальные – женщины. Их двадцать пять. Они только пошли с сапами полоть кукурузу, как дождь. Они вернулись бегом к омету.

Разговорились. Жаловались, что им не записывают трудодни.

* * *

Опять пошел дождь. День пропал. Они томились, кутались. Дымились сырые дрова под казаном. Все не могли разгореться. Старая кухарка жаловалась, что непременно помрет от такой погоды, чтоб она провалилась!

– Не умрешь, – сказала ей другая старуха. – Кухарка умрет – ее и поп не запечатает. Все неохотно засмеялись. Раздражал дождь.

Перед вечером поехали с Костиным в артель за двенадцать километров. По дороге нас застигла гроза. Четыре километра ехали под проливным дождем.

В правлении артели, в маленькой глиняной комнате, застали главу артели Афанасьева. В прошлом это питерский рабочий. Тертый калач. Всюду побывал. Ему тридцать шесть лет. Он маленький, курносый, разбитной, бывалый, хромает.

В империалистическую был шофером в гаубичном дивизионе восьмидюймовых «виккерсов». С семнадцатого года в партии. Был в Кимрах на обувной фабрике. В гражданскую кружил по всем фронтам: Сибирь, Урал, Северный, Польский, наконец, Южный – почти полный круг. Был где-то директором маленькой электростанции; был районным партработником по крестьянским земельным делам; был председателем суда.

Когда мы вошли, он писал длинное письмо товарищу Хатаевичу.

Артель получила от Хатаевича письмо, теперь он отвечал.

С видимым удовольствием и с наигранным равнодушием Афанасьев сказал:

– Он – нам письмо. Теперь я – ему. Так у нас и наладятся дружественные отношения, переписка.

Рассказывал, как он приехал в январе в артель. Был полный развал.

– Все правление сбежало. Сдрейфили. Председатель Чернов сбежал. Оставил печать маленькому сынишке и сказал: «Дня через два-три сдашь в правление».

Пацан приходит и сдает печать. Смех и грех. Два члена правления, ничего никому не сказав, следом за ним, прямо на станцию, конечно ночью, и тоже, стало быть, сбежали. Один Дейнега из всего правления остался за председателя Он и голова, и завхоз, он и производственная часть, и секретарь, и все на свете. Сказал: «Не уйду с поста», – и не ушел.

Тут меня прислали. Меня здесь народ добре знает. Я сменил Дейнегу. Дейнега стал членом правления по производственной части. Мы с ним работаем. Голова сельрады, товарищ Устенко, тоже с нами добре работал. Он сюда еще раньше меня приехал. Он вам более подробно может рассказать, что тут творилось. Ой, что творилось! Полный развал, окончательный развал. Я вообще по-русски говорю и пишу. Но пришлось говорить и писать по-украински. Теперь у меня в голове форменная путаница, как говорится, «суржик» Пишу по-русски – украинские слова вставляю, и наоборот. А недавно я писал своим братьям в Питер письмо, забылся, да и написал его скрозь по-украински. Они мне отвечают: «Что такое? Мало мы поняли!» А я только тогда сообразил.

Голова идет кругом.

Я писал дневник своей жизни. Еще с фронта. Снимал копии со всех писем, которые я писал и которые мне писали. Очень интересно. Это у меня на квартире в Питере осталось.

А вот и товарищ Устенко. Здорово, товарищ Устенко!

Вошел Устенко – большой, костлявый, в брезентовом плаще, с наружностью вольнолюбивого и несколько мрачного солдата-фронтовика революционной, большевистской закваски.

Он пришел с кнутом в руках и сел в углу на табурет. Узнав, о чем идет разговор, он улыбнулся и заметил:

– Ох, тут дел было, я вам скажу! Я здесь уже давно, с ноябрю месяца. Я свидетель всех этих дел. Могу вам все рассказать, вы только записывайте. А не хотите сами записывать, – я вам

могу все сам записать. Вы мне только бумаги достаньте, какой ни на есть бумаги. Я вам карандашом вот столько бумаги напишу, все факты со своей подписью, все как было. Вот столько бумаги могу исписать карандашом, – он показал толстую кипу большими руками. – Я могу и чернилом, только простым карандашом легче: карандаш – тот сам так по бумаге и бегаёт. Я вам могу целую кипу написать за своей подписью, а вы потом как хотите это используйте. Можно, конечно, и в роман вставить, можно и пьеску сделать. Для пьески очень хорошо, как ваше тутошнее правление разбегалось.

– Я уже рассказывал, – заметил Афанасьев.

– А я вам это все могу написать. Я сам роман из своей жизни написал. Карандашом. Вот такую кипу. Всю мою жизнь описал.

– Где же он сейчас, этот роман?

– Где? Пропал. Я его оставил на столе и ушел. А у меня, знаете, сынишка маленький. Ну, у него нет другого удовольствия, как что-нибудь шкодить. Особенно рвать бумагу любит. Как увидит – книжка или какая-нибудь тетрадка, он ее сейчас же берет и начинает отрывать листья. Оторвет один – подивится, подивится и бросит. Потом другой, потом третий и так далее, пока по всей хате листов не набросает. А сам смеется! А сам смеется!

Тут и сам Устенко улыбнулся нежной улыбкой отца, восхищенного шкодами своего малютки.

– А что ж, хороший по крайней мере был этот сбежавший председатель, Чернов?

Афанасьев сморщил курносый нос и вытащил из кармана черный кожаный портсигар.

– Председатель из него – пустое место. Он всех боялся. С людьми не разговаривал. Только любил проводить свою линию и с правлением совершенно не считался. Едет в бричке по степу мимо бригады – никогда к людям не подойдет. Остановит бричку и кричит: «Бригадира!» И командует бригадиру: сделай так, сделай сяк, чтоб все было исполнено. И поедет дальше, даже не попрощается. Он к людям так, и люди к нему так. Потерял всякий авторитет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.